

Отдѣлъ первый.

Реакція.

Глава I.

ЮНОСТЬ МОЕГО ПОКОЛѢНІЯ.

Дѣтствомъ и юностью мое поколѣніе принадлежало къ эпохѣ Александра III. Ее принято считать эпохой застоя. Сами мы этого могли не замѣтить; дѣтямъ все кажется нормальнымъ. Для оцѣнки необходимо сравненіе, а у насъ его не было. Но мы ему учились у старшихъ. Они при насъ говорили, въ какое неинтересное время *намъ* приходится жить. Такъ всегда бываетъ съ поколѣніемъ, которое приходитъ на смѣну послѣ яркихъ, бурныхъ эпохъ. Такой эпохой были *шестидесятые* годы. Все еще было полно воспоминаніями объ нихъ. Ни у кого не могло быть безразличнаго къ нимъ отношенія. Одни говорили о нихъ съ восхищеніемъ, возмущаясь всякою критикой; другіе съ насмѣшкой и злобой. Такое же отношеніе сейчасъ къ 17-му году. Такое же долго было къ Французской Революціи. Удѣлъ яркихъ людей и яркихъ эпохъ, что къ нимъ трудно быть справедливымъ.

Молодежь моего времени росла среди такихъ настроеній и ихъ отражала какъ въ увеличительномъ зеркалѣ. Среди нея тоже одни смѣялись надъ увлеченіемъ шестидесятыхъ годовъ, другіе по нимъ тосковали. И потому, что сами ихъ не видали, ихъ идеализировали; шестидесятые го-

ды стали для нашего поколѣнія «легендой», какой весь XIX вѣкъ пробыла Французская Революція. Идеи шестидесятыхъ годовъ, свобода, законность и самоуправленіе — не были еще ничѣмъ омрачены. Правительственный нажимъ однихъ ломить, а въ другихъ воспитываетъ заклятыхъ враговъ себѣ. Такъ было въ 30 и въ 40-выхъ годахъ при Николаѣ I. Тѣ, кто тогда не были сломлены, въ Самодержавіи видѣли одно только зло, а въ революціонныхъ переворотахъ — свѣтлое и завидное время. То-же продолжалось и съ нами; но въ наше политическое настроеніе вошло два новыхъ фактора. Мы знали, что недавняя эра либеральныхъ реформъ была открыта *Самодержавіемъ*; поэтому такого беспощаднаго отрицанія, какъ въ 40-хъ годахъ, у насъ къ нему быть не могло. А во-вторыхъ реакція 70-хъ и 80-хъ годовъ намъ показала силу Самодержавія. «Революція» и «конституція» оказались мечтой, не реальностью. Никакого выхода изъ нашего упадочнаго времени мы не видѣли.

Старшіе, даже самые либеральные въ этомъ *скептицизмъ* насъ укрѣпляли. Полные воспоминаній о прошломъ, въ *будущемъ* они ничего не видѣли, какъ теперь его плохо видятъ побѣжденные дѣятели 17 года. Они насъ только дразнили своими восхваленіями прошлаго. Они дѣлали этимъ полезное дѣло, но выхода *для насъ* не давали, и удивились бы, если бы мы о немъ *ихъ* спросили. Помню одного изъ типичныхъ представителей этого настроенія: Г. А. Джаншѣева. Онъ свою популярность — а кто его не зналъ? — приобрѣлъ своимъ поклоненіемъ «эпохѣ великихъ реформъ». Этотъ болѣзненный, горбатый армянинъ, съ умными и грустными глазами трубилъ этимъ годамъ славу повсюду и какъ средневѣковый паладинъ бросался на всѣхъ, кто недостаточно благоговѣлъ передъ ними. Его за это любили — и вѣрный признакъ — сочиненія его нарасхватъ раскупали.

Въ этомъ была его заслуга, но большаго онъ сдѣлать не могъ. Никто достойнаго выхода, который могъ бы увлечь — тогда не видалъ. Исчезло все — и либеральное Самодержавіе.

віе Александра II, и либеральные государственные люди, и «подпольная» Революція, и признаки того общаго недовольства, изъ которыхъ родятся *народныя* революціи; все было задушено или замерло на нашихъ глазахъ. Однажды я уже студентомъ говорилъ объ этомъ съ Г. Джаншіевымъ. Онъ твердилъ о «достоинствѣ побѣжденныхъ» и процитировалъ стихотвореніе неизвѣстнаго мнѣ автора, изъ котораго въ моей памяти сохранились четыре стиха:

Но если въ бѣдѣ, въ униженіи тупомъ
Мы силу души сохранили,
Но если мы, павши, прокляты Вамъ шлемъ,
Ужель *вы* тогда побѣдили?

Вотъ все, что оставалось на долю побѣжденнаго Джаншіева. Не въ такихъ-ли бесплодныхъ проклятiяхъ заключается и современный намъ «активизмъ»?

Джаншіевъ былъ не одинъ, который такъ смотрѣлъ на время, когда намъ приходилось начинать сознательно жить и работать. Помню его юбилей: онъ исключилъ изъ него личный характеръ; не хотѣлъ его превратить въ свое восхваленіе. На банкетѣ онъ самъ произнесъ первое слово въ память эпохи, прославленію которой посвятилъ свою жизнь. Это дало тонъ дальнѣйшимъ рѣчамъ. Въ качествѣ молодого адвоката я говорилъ о Джаншіевѣ, какъ «поэтѣ и пѣвцѣ» 60-годовъ, который далъ возможность и нашему поколѣнію переживать то, чего мы сами *не видѣли*. К. А. Тимирязевъ эти слова подхватилъ и свидѣтельствовалъ объ исключительномъ счастьи *своего* поколѣнія, «личная весна котораго совпала съ весной русской государственной жизни». Онъ жалѣлъ насъ, которые «обновленія Россіи» не видѣли и не увидятъ. Судьба сдѣлала, что много позднее К. А. Тимирязевъ призналъ *большевизмъ* такимъ обновленіемъ. Была ли это только «иронія» его личной судьбы, или въ этомъ есть скрытая правда, можно будетъ сказать очень не скоро. Но *тогда* взглядъ его на будущее былъ безнадеженъ.

Тѣ, кто тогда насъ жалѣлъ, не подозрѣвали, что придется намъ пережить и пережить. «Непобѣдимое» Самодержавіе на нашихъ глазахъ стало шататься, уступать и наконецъ рухнуло. Мы пережили короткую полосу «конституціи» и дождались наконецъ *подлинной* Революціи. Въ сказкахъ илюза феи даютъ все, о чемъ дѣти мечтаютъ, чтобы суровой дѣйствительностью ихъ отучить отъ мечтаній. Жизнь оказалась для насъ такой феей.

Но и на этомъ она не остановилась. Мы дожили теперь до эпохи, когда даже тѣ начала европейской цивилизаціи, о которыхъ мы для Россіи мечтали, въ Европѣ потеряли свое обаяніе. По мѣрѣ того какъ они — свобода личности, демократія, народоправство и т. д. — становились безспорными основами жизни, они стали обнаруживать оборотныя стороны. Война это обострила до состоянія «кризиса». Кто его теперь отрицаетъ? Можно предсказывать ему разный исходъ и разную продолжительность, но отрицать самый кризисъ уже не приходится. Необходимый соціальныи переломъ не умѣютъ представить въ путяхъ демократической эволюціи. Отъ народнаго представительства моральная сила отходить. Появились «диктаторы» и «вожди». Эту новую для Европы тенденцію раздѣляютъ и тѣ, кто защищаетъ *старый* соціальныи порядокъ, и тѣ, кто его хотятъ *разрушить*. Политическія диктатуры прекрасно совмѣщаются съ соціальнымъ новаторствомъ. Маятникъ исторіи пошелъ въ обратную сторону. Въ силу демократіи больше не вѣрятъ; кризисъ оказался ей не поплечу. Въ этой атмосферѣ мы естественно дожили и до реабилитаціи *большевизма*.

Когда онъ появился въ Россіи на смѣну мертворожденнаго порядка, созданнаго Февральской Революціей, ему приписали педагогическую роль «пьяныхъ илотовъ». Это такъ могло быть безъ *европейскаго* кризиса. Когда же Европа его ощутила, въ русскомъ большевизмѣ она увидала вѣстника «новаго слова». Его дикія проявленія приписали русской отсталости; но его существо, презрѣніе къ чело-

вѣку, индивидуальнымъ правамъ, культъ всемогущества власти, подошли къ теперешней идеологіи «перманентной» гражданской войны.

Это естественноѣе, чѣмъ могло сначала казаться. Коммунизмъ предназначался не для Россіи. Онъ былъ зачатъ въ средѣ свободныхъ политическихъ странъ, съ законченнымъ капитализмомъ. Онъ былъ попыткою разрѣшить *для нихъ* социальный вопросъ. Намъ можно не знать, дѣйстви-тельно ли капиталистическій строй сталъ въ нихъ помѣхой дальнѣйшей эволюціи общества, наступилъ ли капитализму конецъ, или настоящій кризисъ есть преходящее затрудненіе, изъ котораго выведетъ время? Для Россіи этого вопроса не существовало; коммунистическаго лѣченія *ей* не было нужно. Россія была еще отсталой страной, въ которой для коммунизма не было никакихъ предпосылокъ. Напротивъ. Идеи, которыя оказались уже бессильны въ Европѣ, были еще совершенно необходимы для подъема первобытной Россіи. Освобожденіе или какъ картинно выражались у насъ «раскрѣпощеніе» челоуѣка и общества, защита *личности* и ея правъ *противъ власти*, обезпеченіе за каждымъ его пріобрѣтенныхъ правъ, было тѣмъ, чего до тѣхъ поръ не хватало Россіи. Всякій разъ, когда эти начала въ ней частично осуществлялись, начиналось ея быстрое оживленіе и подъемъ. Такъ было въ 60 годахъ, потомъ въ эпоху эфемерной конституціи 906 г., такъ было бы и послѣ Февральской Революціи 1917 г., если бы полное самоуправленіе не оказалось непосильнымъ для невоспитаннаго политически общества. Нельзя было, какъ тогда вообразили, вести прежнюю войну и переустраивать Россію на новыхъ началахъ, заставлятъ войско воевать и подрывать понятіе о дисциплинѣ. Реализмъ большевиковъ сказался въ томъ, что послѣ шестимѣсячнаго разложенія власти, они вновь ее создали, на старыхъ самодержавныхъ началахъ, даже съ суррогатомъ привычной «Монархіи», использовавъ для этого всю нашу отсталость и привычки стараго рабства. Но воссоздавъ реальную власть,

большевизмъ вмѣсто того, чтобы завершить раскрѣпощеніе общества, принялся калѣчить Россію во имя борьбы съ капиталомъ, съ буржуями и личной свободой. Благодаря этому онъ явился для Запада интереснымъ предвозвѣстникомъ «управляемой экономіи». Но для Россіи эта программа была шагомъ назадъ и насильственнымъ разореніемъ. «Управляемая экономія» въ Россіи не удалась не потому, что для нея не было «кадровъ», что администрація была невѣжественна, недобросовѣстна и продажна; а потому, что *никакой надобности* въ ней пока не было. Россіи было нужно проходить стадію естественной капиталистической эволюціи. Для нея прогрессъ былъ еще въ *этомъ*. Примѣры болѣе опытныхъ странъ могли намъ помочь избѣжать ея крайностей; но не могли насъ избавить отъ *этой стадіи*, отъ необходимости пройти ея долгую школу. Самодѣятельность была Россіи нужна, какъ молодому организму движеніе. Недаромъ всякое отступленіе отъ коммунизма тотчасъ давало въ большевистской Россіи благопріятные результаты. Ничтожная доля экономической свободы въ эпоху эфемернаго Нэпа дала недолгую иллюзію выздоровленія. Всякая страна страдаетъ отъ нововведеній, если они пришли слишкомъ рано. Это бывало въ старину съ отсталой Россіей; это же готовили ей либеральные реформаторы 1905 года, когда собирались наградить ее Учредительнымъ Собраніемъ, парламентаризмомъ и четыреххвосткой. Но ни однопреждевременное «новое слово» не причинило ей столько вреда, какъ большевизмъ. Онъ сбиль Россію съ настоящей дороги, и надолго разрушилъ въ ней то, что въ ней естественнымъ путемъ росло цѣннаго и здороваго.

Потому признаніе большевизма Европой для насъ не поучительно. Оно даетъ лишь цѣну ея собственной прозорливости. Европейскій кризисъ въ *нашихъ* глазахъ не реабилитируетъ большевизма. Но зато заставляетъ насъ пересмотрѣть теперь наше старое отношеніе къ *русскому* Самодержавію.

Для моего поколѣнія проблема «Самодержавія» оказа-

лась въ центрѣ политической мысли. Мы начинали сознательно жить, когда Самодержавіе себя утвердило и какъ будто навсегда укрѣпилось. И при насъ же, въ зрѣлые годы, борьба съ нимъ стала *все покрывающимъ лозунгомъ*, отодвинула на задній планъ все остальное. Оно было обречено всѣми и безповоротно. Но теперешняя идеологія фашизма и диктатуръ реабилитируетъ Самодержавіе. Вѣдь и оно защищало полноту своей власти не для себя, а для того, чтобы ею служить интересамъ народа, всѣхъ состояній, классовъ и расъ, не завися отъ обладателей привилегій.

Дѣйствительность обыкновенно далека отъ идеала. Но 60-тые годы потому и оставили такой слѣдъ въ душѣ и въ исторіи, что Самодержавіе тогда показало себя на высотѣ такого призванія. Правда, задача, которая тогда стояла предъ нимъ, была легче тѣхъ, которыя послѣ войны возникли передъ старой цивилизаціей. Въ 60-ые годы Россіи было достаточно идти по протореннымъ путямъ, по которымъ раньше побѣдоносно пошли европейскія демократіи. Но вѣдь и для того, чтобы въ 60-хъ годахъ поставить Россію на *эту* дорогу, *нужно* было Самодержавіе. Тогдашній правящій классъ этихъ реформъ не хотѣлъ. Самодержавная власть провела ихъ противъ него и въ Государственномъ Совѣтѣ утверждала мнѣніе его *меньшинства*. Самодержавіе было нужно, чтобы мирнымъ путемъ эгоистичное сопротивление дворянства сломить. А если правда при этомъ, что самъ Александръ II по своимъ взглядамъ этихъ реформъ не хотѣлъ и былъ вынужденъ къ нимъ потому, что боялся движенія снизу, то это есть идейное оправданіе Самодержавія. Его было бы нельзя защищать, если бы политика его зависѣла только отъ личныхъ симпатій самого Самодержжца. Идеологи Самодержавія всегда утверждали, что его программа опредѣлялась не личнымъ капризомъ Монарха, а объективной необходимостью, что Самодержавіе не можетъ быть глухо къ народнымъ желаніямъ изъ одного чувства самосохраненія, которое неотъемлемо отъ Самодержжца. Если Але-

Александр II действительно сумел сломить не только крепостнический класс, но и свои личные предубеждения, то в глазах объективных людей, он этим не подорвал, а *укрепил* принцип Самодержавия. И шестидесятые годы, которые превозносил либерализм, были торжеством не только *его* представителей; они были и торжеством *Самодержавия*.

В этом быть может и было больше всего обаяние 60-х годов. Народолюбцы, отдавшие тогда себя на служение родному народу, могли не истощать своих сил в борьбу *против* власти. «Что можно противопоставить», писал Герцен, когда вмѣстѣ «власть и свобода», образованное меньшинство и народъ, *царская воля и общественное мнѣніе?*» Это — идеология Самодержавия. Современные фашистскія диктатуры стоятъ на той же позиціи и ихъ сила въ поддержкѣ ихъ народными массами. Но и эти диктатуры теряютъ свой *raison d'être*, когда они своей непосредственной цѣли достигнуть. Ни диктатура, ни Самодержавіе не есть *нормальный* порядокъ и въ эпохи *мирнаго*, т. е. здороваго развитія они вырождаются.

*

* * *

Нашему поколѣнію пришлось воочию увидѣть, — какъ миновала героическая пора Самодержавія; послѣ «Великихъ Реформъ» началась борьба Самодержавія съ обществомъ, и побѣда Самодержавія сдѣлалась началомъ его собственной гибели.

Творческой подъемъ Самодержавія 60-хъ годовъ и первое недовольство имъ въ 70-хъ стоятъ за предѣлами моихъ личныхъ воспоминаній. Я смутно припоминаю послѣдніе годы Александра II; турецкую войну, турецкихъ плѣнныхъ на улицахъ, обѣдъ въ манежѣ въ честь вернувшихся солдатъ въ присутствіи Государя, котораго я увидалъ тогда въ первый и послѣдній разъ въ своей жизни; благодарственные

молебны послѣ покушеній, которыя сдѣлались «бытовымъ явленіемъ» этого времени и оцѣпенѣніе 1-го марта. Больше всего мнѣ запомнилось чтеніе въ церкви манифеста 29 апрѣля 81 года о Самодержавіи. Послѣ службы пришли сослуживцы отца и горячо между собой толковали. Г. И. Керцелли, управляющій хозяйственной частью больницы, сказалъ своимъ внушительнымъ тономъ: «когда священникъ началъ читать Манифестъ, я испугался; вдругъ это конституція»? Другіе съ нимъ стали спорить. Непонятная фраза Керцелли мнѣ очень понравилась. На другой день въ гимназіи я ее отъ себя повторялъ, пока не былъ поставленъ надзирателемъ къ стѣнѣ, «за глупые разговоры». Потому этотъ эпизодъ мнѣ запомнился.

Такъ мое поколѣніе входило въ жизнь при самомъ началѣ «реакціи» 80-хъ годовъ. Мы ею дышали съ самаго дѣтства. Насъ *она* воспитала.

Послѣдствія всякой политики сказываются обыкновенно не скоро и потому сужденія потомства такъ отличаются отъ мнѣнія современниковъ. Царствованіе Александра III оказалось роковымъ для Россіи; оно направило Россію на путь, который подготовилъ позднѣйшую катастрофу. Мы это ясно видимъ *теперь*; тогда же по внѣшности это царствованіе казалось благополучнымъ. Выросъ престижъ Россіи, и Самодержавія, и самого Самодержца. Его личныя свойства мирились съ нимъ даже тѣхъ, кто его политику осуждалъ. Онъ казался не блестящимъ, не эффектнымъ, но скромнымъ, простымъ и преданнымъ *слугою* своей родины. Это впечатлѣніе свои плоды принесло. Въ послѣдніе годы его короткаго царствованія всѣ были увѣрены, что онъ самодержавный режимъ укрѣпилъ и надолго.

Его царствованіе считалось эпохой «реакціи» и общества и правительства. Мы сами объ этомъ судить не могли, но старшіе въ томъ были единодушны. Одни съ негодованіемъ, другіе съ похвалой говорили, одни объ упадкѣ, другіе объ отрезвленіи общества. И то и другое было, конечно, но

это еще не «реакція». Кто пережилъ 1905 и 1917 г., поймутъ лучше шестидесятые. Переворотъ въ учрежденіяхъ и понятіяхъ, который произошелъ въ эпоху «Великихъ Реформъ» не могъ пройти безъ излишествъ. И тогда явилась вѣра въ наступленіе новыхъ «чудесъ», пропало сознаніе «невозможности». Такой подъемъ увлекателенъ. Онъ составлялъ ту «весну», о которой съ увлеченіемъ вспоминалъ Тимирязевъ. Но онъ долженъ былъ миновать, какъ проходитъ всякая весна, всякая страсть. Объ нихъ радостно вспоминать, но жить ими долго нельзя. У общественной жизни есть свои темпы, и за слишкомъ быстрый скачокъ платятъ потомъ годами застоя.

Мы испытали такое же «успокоеніе» и «отрезвленіе» въ 1907—1914 годахъ, послѣ безумствъ 1905 и 1906 гг. Поскольку «реакція» старается вернуться назадъ, отрезвленіе 907—914 годовъ «реакціей» не было. Оно укрѣпило существованіе народнаго представительства, послужило успѣху реформы 1905 года. Людей, которые мечтали о возвращеніи къ старому, о реставраціи Самодержавія, за эти годы становилось все меньше. Потому настоящей *реакціей* это не было.

Была ли общественная реакція въ 80-хъ годахъ? Что отдѣльные люди, могли мечтать о возстановленіи до-реформенной жизни — возможно. Но такіе люди вымирали и не ими характеризовалось настроеніе общества. А общество назадъ не стремилось; всѣ понимали, что такой возвратъ никому *не подъ силу*. Курсъ, на который въ 60-хъ годахъ была поставлена Россія, казался для всѣхъ окончательнымъ. Объ немъ поэтому не было спора. Но за то общество помирилось съ тѣмъ, что дальше оно *не идетъ*, и не скоро увидитъ «увѣнчаніе зданія».

Я былъ слишкомъ молодъ, чтобы самому объ этомъ судить. Но нѣкоторыя наблюденія я и сейчасъ вспоминаю. Въ широкомъ обществѣ Самодержавіе еще хранило свое обаяніе. Не за реформы, которыя оно провело въ 60-хъ годахъ, а за то, что *олицетворяло въ себѣ народную мощь и величіе*

государства. Монархическія чувства въ народѣ были глубоко заложены. Недаромъ личность Николая I въ широкой средѣ обывателей не только не вызывала злобы, но была предметомъ благоговѣнія. Когда я студентомъ прочелъ «Былое и Думы», ненависть Герцена къ Николаю оказалась для меня «откровеніемъ». Я до тѣхъ поръ встрѣчалъ восхищеніе Николаемъ. «Это былъ *настоящій* Государь», говорили про него. Восхищались его ростомъ, силой, юсанкой, его «рыцарствомъ», его голосомъ, который во время команды былъ слышенъ по всѣмъ угламъ Театральной Площади. «Онъ и въ рубищѣ бы казался царемъ», фраза, которую много разъ въ дѣтствѣ я слышалъ. Добавляли: «ни у какого злодѣя на него не поднялась бы рука». Въ сравненіи съ нимъ Александръ II, несмотря на всѣ его заслуги передъ Россіей, терялъ личное обаяніе; а о простецкой скромной фигурѣ Александра III говорили скорѣй съ огорченіемъ. Даже тѣ анекдоты о Николаѣ, которые мое поколѣніе возмущали, какъ проявленіе самодурства, передавались среди обывателей съ національной «гордостью». Все это были пережитки старой эпохи. Слѣды рабства проходятъ не скоро. Они воскресли въ Совѣтской Россіи; они лежатъ въ основѣ мистическаго обожествленія — Ленина и постыднаго холопства передъ Сталинымъ.

Но при всей идеализаціи *личности* Николая, о *порядкахъ* его времени вспоминали со страхомъ; никто къ нимъ не хотѣлъ бы вернуться. Отъ царствованія его оставался въ памяти ужасъ. Разказы про времена Николая I съ дѣтства производили на меня впечатлѣніе того же кошмара, какъ разказы про татарское иго. Это время покрывалось определеніемъ: «тогда была крѣпость». Несуществовавшее крѣпостное право въ моемъ дѣтскомъ воображеніи превращалось въ реальное представленіе «крѣпости» съ башнями, бойницами, гарнизонами и часовыми. И я не могу представить себѣ, чтобы кто-нибудь въ эти 80-ые годы могъ серьезно желать не только возстановленія крѣпостничества, но возвра-

ценія къ прежнимъ судамъ, къ присутственнымъ мѣстамъ
время Ревизора и Мертвыхъ Душъ и т. д. Это кануло въ
вѣчность.

Но желаніе возвратиться назадъ особенно чувствуется при
воспоминаніяхъ о тогдашнихъ «реакціонерахъ». Въ дѣт-
ствѣ мнѣ приходилось видать «крѣпостниковъ», и хотя я не
все понималъ, но много запомнилъ. Приведу два примѣра.

Въ числѣ близкихъ друзей нашей семьи былъ отставной
гусарь Левъ Ивановичъ Мичуринъ, жившій въ Рязанской
губерніи, но въ свои пріѣзды въ Москву бывавшій у насъ.
Лысый, съ окладистой, сѣдой бородой, съ носомъ крючкомъ
и живыми пронзительными глазами, онъ намъ, дѣтямъ, нра-
вился тѣмъ, что ходилъ въ поддевкѣ и говорилъ внуши-
тельнымъ голосомъ. Онъ былъ словоохотливъ и много расска-
зывалъ; изображалъ въ лицахъ свои приключенія, столкно-
венія то въ качествѣ земскаго гласнаго, то мирового судьи.
По его рассказамъ къ нему всѣ относились несправедливо,
а онъ всѣхъ побѣждалъ. Особенно отъ него доставалось ка-
кому-то Александру Ивановичу, съ которымъ онъ все время
сражался. Онъ хвалился, что много испортилъ крови ему и
что будто бы тотъ говорилъ: «никого я въ жизни не боялся,
а Льва Ивановича боюсь, очень боюсь». Когда я сталъ стар-
ше, я узналъ, что этотъ Мичуринъ былъ извѣстный далеко
за предѣлы Рязанской губерніи «реакціонеръ», неугомонный
скандалистъ Пронскаго уѣзда и Рязанскаго губернскаго зем-
ства, а что Александръ Ивановичъ былъ знаменитый либе-
ральный дѣятель А. И. Кошелевъ. Однако вотъ, что я все-
таки помню: этотъ реакціонеръ, издѣвавшійся надъ вся-
кимъ проявленіемъ «либерализма», возврата къ старинѣ не
хотѣлъ. Онъ самъ служилъ мировымъ судьей, былъ убѣ-
жденнымъ земцемъ и не было его пріѣзда къ намъ, чтобы
не начиналось споровъ о земствѣ, всесословной волости, мел-
кой земской единицѣ и другихъ мнѣ непонятныхъ словахъ.
Онъ осуждалъ вовсе не мировой институтъ, тѣмъ болѣе не
земскія учрежденія, а только направленіе, которое въ нихъ

проявлялось; съ этимъ направлениемъ онъ боролся въ рамкахъ самихъ учреждений и на замѣну ихъ стариной никогда бы не согласился. Скажу и другое: онъ былъ страстнымъ сельскимъ хозяиномъ. Я слыхалъ его разговоры про трудность вести теперь хозяйство, про споры съ крестьянами. Онъ много разъ утверждалъ, что все было легче при крѣпостныхъ и что самимъ крѣпостнымъ тогда жилось лучше. По младенчеству я его однажды спросилъ: зачѣмъ же тогда крѣпостныхъ уничтожили? Этотъ крѣпостникъ мнѣ отвѣтилъ: «тебѣ объ этомъ рано рассказывать; только вотъ что запомни: сейчасъ всѣмъ стало гораздо труднѣе, чѣмъ прежде, а слава Богу, что прежняго нѣтъ. И всегда молись за этого Государя; что теперь плохо, въ этомъ виноваты мы сами». Эти слова я запомнилъ болѣе всего потому, что тогда ихъ не понималъ. И такимъ «крѣпостникомъ» былъ онъ не одинъ.

Кажется черезъ Л. И. Мичурина мы познакомились съ другой извѣстной семьей — Кисловскими. У нихъ былъ домъ въ Неаполитовскомъ переулкѣ съ громаднымъ садомъ, которые въ это время еще кое-гдѣ сохранялись въ Москвѣ. У стариковъ Кисловскихъ было нѣсколько дѣтей; они всѣ были старше насъ и близости домами не завязалось. Мичуринъ объ этомъ жалѣлъ и всегда ихъ расхваливалъ. Но послѣ смерти Кисловскаго, когда я былъ гимназистомъ, знакомство съ Кисловскими возобновилось. Къ намъ часто сталъ ѣздить младшій сынъ Левъ Львовичъ въ красивой формѣ гусара. Онъ разъ упросилъ отпустить меня къ нему въ деревню. Въ его имѣніи, Рязанской губерніи, былъ, какъ полагалось, барскій домъ съ громаднымъ дворомъ передъ подъѣздомъ и густымъ садомъ за домомъ; масса службъ на дворѣ. Жила тамъ его мать вмѣстѣ съ двумя дочерьми; онъ самъ велъ хозяйство, которымъ увлекался со страстью. Имѣніе было громадное, во много тысячъ десятинъ и очень доходное. Л. Л. Кисловскій былъ превосходный наѣздникъ и мы цѣлыми днями верхомъ объѣзжали его лѣса, хутора,

процѣри дѣланиковъ и управляющихъ. Вездѣ былъ образцовый порядокъ. Кисловскій все зналъ, во все входилъ, всѣмъ распорядился. Но какъ ни малъ былъ я тогда, мнѣ мнѣ очень не нравилось. Встрѣтивъ крестьянина, который передъ нимъ шапки не снялъ, Кисловскій осыпалъ его грубою бранью, а мнѣ старался внушать, что этого требуетъ вѣжливость. Я спрашивалъ, какъ же онъ можетъ заставить передъ собой скидывать шапку, и онъ объяснилъ, что всѣ мужики у него на арендѣ, и что грубіяновъ къ своей землѣ онъ не допуститъ. Этого мало. Много крестьянъ приходило въ контору по дѣлу аренды. Они на дворѣ стояли безъ шапокъ, даже когда Кисловскаго не было. Онъ разъяснилъ, что на барскомъ дворѣ они надѣвать шапокъ *не смѣютъ*. Разъ мы проѣзжали верхомъ мимо развалившагося барскаго дома, стоявшаго на очень красивомъ пригоркѣ. Я спросилъ его: «почему дома не поправляютъ»? У Кисловскаго вырвалась фраза: «да потому, что отпустили скотовъ на свободу». Казалось дальше идти было нельзя. Это былъ настоящій озлобленный пессимистическій крѣпостникъ. Но вотъ другая сторона этого дѣла. Тотъ же Кисловскій увлекался хозяйствомъ, техническими его улучшеніями, достигнутыми въ немъ результатами, которыми гордился и хвастался. Онъ мнѣ внушалъ, что всякій образованный чело-вѣкъ въ Россіи долженъ заниматься хозяйствомъ, что именно *это* настоящее дѣло, что сельское хозяйство непочатый уголь для улучшеній, и не разъ добавлялъ, что даровой крѣпостной трудъ помѣщиковъ избаловалъ и, что только послѣ освобожденія всякій чело-вѣкъ можетъ показать, *чего* онъ дѣйствительно стоитъ. Это здравое пониманіе, несовмѣстимое съ желаніемъ «реставраціи», уживалось въ немъ съ дворянской спесью, съ презрѣніемъ къ мужику, на котораго онъ смотрѣлъ такъ, какъ новопроизведенный заносчивый офицеръ смотритъ иногда на солдатъ. Не идеализація старыхъ порядковъ, а высокомерное отношеніе къ бѣднымъ и слабымъ, самомнѣніе и самовлюбленность опредѣляли его

политическую физиономию. Знакомство съ Кисловскимъ у насъ не продолжалось; онъ бывать у насъ пересталъ; была какая-то ссора. Помню, какъ за него заступался Мишуринъ, говоря со вздохомъ: «у него несчастная слабость показывать себя въ сто разъ хуже, чѣмъ онъ на самомъ дѣлѣ». Я изъ виду его потерялъ. Но въ 905 году я въ газетахъ прочелъ, что его имѣніе Пустотино было раньше другихъ до тла сожжено. Читалъ и о томъ, какъ Кисловскій пріѣзжалъ въ Петербургъ съ депутаціей правыхъ, жаловаться Государю на Витте; какъ онъ упалъ передъ Государемъ на колѣни и просилъ его не отдавать на разграбленіе ихъ, вѣрныхъ слугъ Россіи. Многое мнѣ тогда вспомнилось изъ прежняго времени и стало понятно.

На примѣрахъ этихъ двухъ крѣпостниковъ молодого и стараго можно видѣть, что тогда не покушались мечтать о возвращеніи къ дореформенной эпохѣ въ Россіи. Послѣ реформъ 60-хъ годовъ съ крѣпостниками произошло то-же, что и съ большинствомъ сторонниковъ неограниченнаго Самодержавія послѣ 1905 г. Они могли осуждать направленіе Государственной Думы, могли желать повернуть избирательный законъ въ *свою* пользу, использовать новыя учрежденія въ своихъ интересахъ — но вернуться къ эпохѣ настоящаго Самодержавія, уничтожить представительство они не только были не въ силахъ, но уже *не хотѣли*. Въ 80-хъ годахъ было то-же самое. Крѣпостники не только поняли, что ввести снова крѣпость нельзя, но они поняли пользу «новыхъ порядковъ», и только стремились — что было ихъ правомъ — извлечь изъ нихъ *для себя* наибольшую выгоду. Потому настроеніе 80-хъ годовъ настоящей «реакціей» не было. Въ немъ было другое, чему умное правительство могло бы только порадоваться. Въ обществѣ наступило отрезвленіе и успокоеніе; оно отъ этого стало гораздо способнѣе къ реальной и полезной работѣ, чѣмъ въ эпоху своего «*Sturm und Drang*». Потому глубокое преступленіе передъ Россіей совершили тѣ, кто толкнулъ *политику* Александра къ настоящей «реакціи».

Словомъ «реакція» можно злоупотреблять и по отноше-
нію къ власти. Нельзя считать реакціей замедленіе, даже
остановку въ ходѣ начатыхъ реформъ. Они часто полезны.
Нужно время, чтобы реформы были странною усвоены и что-
бы къ нимъ приспособились нравы. Детали реформы иногда
требуютъ исправленія, даже хода назадъ. Это зигзаги, ко-
торыя отмѣчаетъ всякая восходящая линія. Жизнь идетъ
ритмомъ, смѣной движенія и остановокъ и даже отступле-
ній, чтобы лучше скакнуть. Въ этомъ никакого несчастія
нѣтъ, какъ это ни бываетъ досадно.

Нельзя было бы винить совѣтниковъ Александра III и за
то, что они убѣдили его *остановиться* и отказаться отъ по-
пытки послѣднихъ годовъ преодолѣть революціонную смуту
уступкой либеральнымъ желаніямъ. Это средство не всегда
удаётся. Такая политика Лорисъ-Меликова вызывала давно
оппозицію. Но на нее пошелъ Государь подписавшій въ
день 1 марта такъ называемую «конституцію Лорисъ-Мели-
кова» и ее одобрилъ будущій Императоръ, Наслѣдникъ Але-
ксандръ Александровичъ.

Событія 1-го марта остановили этотъ шагъ въ самомъ
началѣ; враги этой реформы царубійство использовали.
Александръ III, подъ вліяніемъ Побѣдоносцева, отказался
отъ созыва представителей земствъ, принялъ отставку Ло-
рисъ-Меликова и Абазы и обнародовалъ написанный Побѣ-
доносцевымъ манифестъ 29 апрѣля 1881 г., въ которомъ
исповѣдывалъ свою вѣру въ «силу и истину Самодержавной
власти, которую онъ призванъ утверждать и охранять для
блага народнаго отъ всякихъ на нее поползновеній.»

Этотъ манифестъ считался началомъ реакціи; такимъ
онъ оказался не потому, что онъ *самъ* это значилъ, а по мо-
тивамъ, которые его продиктовали. Отказъ отъ «увѣнчанія
зданія» могъ быть не «реакціей», а простой остановкой.
Идти дальше путемъ Лорисъ-Меликова было *не обязательно*,
какъ и въ 1905 г. можно было быть за упраздненіе Самодер-
жавія, а Учредительнаго Собранія *не хотѣть*. И отношеніе

широкаго общества къ манифесту 29 апрѣля показало, что необходимость «увѣнчанія зданія» еще не стала *для всѣхъ* очевидной. Самодержавіе себя еще не изжило, довѣріе къ нему не пропало. Это пришло значительно позже.

Но одно дѣло идти впередъ, къ «увѣнчанію» того, что въ 60-хъ годахъ было заложено, другое — ломать то, что уже было построено. Задачей Александра III при наступившемъ успокоеніи общества должно было быть охраненіе великихъ реформъ, ихъ главныхъ основъ, на которыхъ стояла новая Россія, и благожелательное исправленіе тѣхъ ихъ погрѣшностей и недочетовъ, которые обнаружила жизнь. Его царствованіе могло быть *консервативнымъ*, а не *реакціоннымъ*.

Не только въ реформахъ могли съ самаго начала быть «несовершенства»; сама жизнь уходила далеко впередъ и требовала поправокъ къ реформамъ. Это особенно ясно на крестьянскомъ вопросѣ. Сельское общество черезъ 20 лѣтъ послѣ освобожденія ни по составу, ни по настроенію не было тѣмъ, чѣмъ было прежде. Оно не было той однородной, приниженой массой, привыкшей терпѣть и подчиняться помещику, для которой годилось Положеніе 61 года. Крестьянство разслаивалось; въ его средѣ интересы стали различны. Являлись конфликты между единицей и обществомъ. Признаніе власти старичковъ, безпрекословное подчиненіе міру — уже противорѣчили правосознанію. Государственная власть не покушаясь на начала крестьянскаго освобожденія, не могла быть безучастной къ тому, какъ слагаются отношенія въ области необъятной сельской Россіи.

То-же самое можно сказать о земской реформѣ. Какъ ни безспорны были принципы, положенные въ ея основаніе, какъ ни велики успѣхи, которые ею были достигнуты, опытъ показалъ, съ какими трудностями развивалось земское дѣло; какъ мало было подходящихъ «людей», какъ косно и безучастно относилось къ нему населеніе, какъ оно было безза-

щитно передъ тѣми, кто хотѣлъ ловить рыбу въ мутной водѣ. Благожелательный контроль и содѣйствіе государства и здѣсь могли быть только полезны.

Это относится и къ судебной реформѣ. Послѣдняя, пожалуй, оказалась самой удачной, особенно потому, что недостатки законовъ въ значительной мѣрѣ исправлялись кассационнымъ Сенатомъ, который въ эту эпоху стоялъ на стражѣ духа Уставовъ. Но и Сенату *не все* было доступно.

Передъ Александромъ III лежала благодарная задача: устранять препятствія, которыя мѣшали успѣху великихъ преобразованій предыдущаго царствованія. Однимъ изъ главныхъ препятствій было именно возбужденіе, нетерпѣливость нашего общества. «Весна», о которой говорилъ Тимирязевъ, препятствовала спокойной работѣ. То-же самое мы увидали въ 1906 г., въ нашу эпоху. Но въ 80-хъ годахъ пора «весны» миновала; общество успокоилось. Созданныя Александромъ III учрежденія, предназначенныя для мирнаго времени, могли теперь развиваться и совершенствоваться въ нормальныхъ условіяхъ. Благожелательная помощь этому со стороны государства была какъ разъ тѣмъ, что было тогда нужно Россіи, что подходило и къ характеру Государя и къ настроенію общества.

Но совѣтники Государя увлекли его на *другую* дорогу; вѣроятно и его личныя симпатіи клонились туда. Но не важно, *кто* былъ настоящей причиной новаго курса; важно то, что онъ былъ направленъ не на исправленіе, а на уничтоженіе великихъ реформъ, на борьбу съ принципами, на которыхъ они были построены.

Такое отношеніе новаго Государя къ Великимъ реформамъ получило курьезное внѣшнее оказательство. Въ 80-хъ годахъ наступила серія двадцатипятилѣтнихъ юбилеевъ великихъ реформъ, начиная съ крестьянской. Я тогда былъ гимназистомъ. Помню возмущеніе старшихъ, когда подъ предлогомъ, что юбилеями «злоупотребляютъ», было запрещено праздновать двадцатипятилѣтія, и было разрѣшено

праздновать лишь пятидесятилѣтія. Это было прозрачнымъ запретомъ говорить о веревкѣ въ домѣ повѣшенныхъ.

Это могло бы быть только неловкостью исполнителей, которые «перестарались». Но это соответствовало существу отношенія. Отмѣнить однимъ указомъ всѣ реформы было нельзя; надо было на ихъ мѣсто ставить что-либо другое. Это и дѣлалось постепенно, подрывая основы реформъ, до подчиненія крестьянъ дворянской помѣщичьей опеке включительно. Среди такой подкопной работы было бы лицемеріемъ славословить реформы; точно такъ же разбирать Иверскую и Храмъ Спасителя можно только, если государство ведетъ пропаганду «безбожія».

Во имя чего вышло это оффиціальное гоненіе на шестидесятые годы? Опубликованные въ послѣднее время документы громаднaго интереса и исторической важности показываютъ ту атмосферу, которая *опредѣлила* «реакцію» Александра III.

Она была начата во имя «охраненія Самодержавія». Это кажется страннымъ. Можно еще понять, что въ планѣ Морисъ-Меликова испуганное воображеніе завидѣло «конституцію». На засѣданіи Совѣта Министровъ 8 марта именно это рѣшило судьбу этого начинанія. Это кое-какъ допустимо. Вѣдь и сама общественность думала такъ, полусерьезно, полупутливо называя этотъ планъ «конституціей». Но тогда же былъ поставленъ гораздо болѣе общій вопросъ: въ какой мѣрѣ *самыя реформы 60-хъ годовъ съ Самодержавіемъ совмѣстимы?* Этого вопроса въ 60-хъ годахъ не затрагивали, ибо напротивъ того Самодержавіе считалось *нужнымъ* для того, чтобы ихъ провести. Но этотъ вопросъ съ утрированной рѣзкостью и былъ поставленъ 8 марта 81 года Побѣдоносцевымъ. Ему возражалъ Абаза, заявивъ, что если Побѣдоносцевъ правъ, то должны быть уволены всѣ участники Великихъ Реформъ. Такъ были поставлены точки на і. Или эти реформы — или Самодержавіе. Публичные заявленія въ этомъ же смыслѣ появились позднѣе при Николаѣ II; за-

писка Витте о земствѣ, Муравьева о судебныхъ реформахъ; но келейно дилемма была формулирована уже въ самомъ началѣ царствованія Александра III, и получила отвѣтъ въ Манифестѣ 29 апрѣля. Она и была причиной похода противъ началъ Великихъ Реформъ.

Такъ царствованіе Александра III сдѣлалось подлинной *реакціей*, реставраціей Уваровской формулы — Самодержавіе, Православіе и Народность. Я былъ гимназистомъ, когда Министръ Народнаго Просвѣщенія гр. Деляновъ провозглашалъ ее въ своей рѣчи студентамъ: «Слѣдуйте этому, сказалъ онъ въ заключеніе рѣчи, и мы всѣ будемъ счастливы». И таково было уже тогда новое настроеніе, что *можно* было при студентахъ это сказать безнаказанно.

Широкое общественное мнѣніе, даже передовое въ то время отрицало правильность подобной дилеммы. Оно не хотѣло вѣрить, чтобы реформы созданныя Самодержавіемъ могли быть съ нимъ несовмѣстимы. Оно помнило, что главная изъ нихъ — крестьянская, могла быть проведена только сильною Самодержавною властью. Отрицаніе совмѣстимости созданнаго въ 60-хъ годахъ порядка съ создавшей ихъ властью казалось провокаціонной ловушкой, возбуждавшей негодованіе. Такой стала позиція либеральной печати.

Но если эта печать была искренна, то права была все-таки не она, а ея противники, реакціонеры. Они видѣли вѣрнѣе и глубже. Начала, на которыхъ реформы 60-хъ годовъ были построены, въ концѣ концовъ дѣйствительно неограниченное Самодержавіе подрывали. Свобода личности и труда, неприкосновенность пріобрѣтенныхъ гражданскихъ правъ, судъ, какъ охрана закона, а не усмотрѣніе власти, мѣстное самоуправленіе были принципами, которые противорѣчили «неограниченности» власти Монарха. Многимъ это сразу не было видно. Для того, чтобы эта несовмѣстимость почувствовалась, надо было, чтобы эти принципы укоренились въ общественныхъ нравахъ и чтобы основанныя на нихъ учрежденія получили все развитіе, которое было воз-

можно. Но по существу идеологи реакціи были правы. Нормальный рост созданныхъ въ 60-хъ годахъ учреждений уже велъ къ тому, что неограниченное Самодержавіе оказалось позднѣе ненужнымъ и вреднымъ; оно держалось на подчиненіи крѣпостного крестьянскаго большинства дворянскому меньшинству. Эта социальная несправедливость была его главной опорой. Самодержавіе было нужно дворянству, чтобы силой государственнаго аппарата защищать эту несправедливость. Оно держалось и мистической вѣрой народа въ Царя, надеждой, что онъ оберегаетъ народъ отъ помѣщиковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ Самодержавіе отдѣлило свою судьбу отъ дворянства, освободило крестьянъ, и этимъ нанесло сословности непоправимый ударъ, его дни были сочтены. Какъ современные фашизмы, оно было нужно, чтобы сломить старый порядокъ, силу преобладающихъ классовъ и построить общежитіе на новыхъ началахъ. Но когда это было окончено, въ немъ болѣе не было надобности; жизнь стали устраивать на другихъ основаніяхъ, которыя исключали необходимость «неограниченной власти».

Изъ этого можно было сдѣлать только одинъ логическій выводъ: что на Самодержавіи лежалъ послѣдній долгъ довести до конца начатое дѣло, дать развиваться созданнымъ имъ учреждениямъ, укорениться новымъ идеямъ — и затѣмъ раздѣлить свою власть съ выросшимъ и подготовленнымъ обществомъ, какъ честный опекунъ сдаетъ имущество своему бывшему подопечному. Если бы Александръ III пошелъ этой дорогой — 17 октября появилось бы другого числа и въ другой обстановкѣ; тогда и трехсотлѣтняя династія не погибла бы такъ безславно. Но идеологи реакціи толкнули его на гибельный планъ — постепенно душиить реформы 60-хъ годовъ. Этимъ они думали устранить угрозу, которая нависла надъ Самодержавіемъ. Въ этой борьбѣ противъ исторіи Самодержавіе было побѣждено; но Россіи дорого обошлась такая борьба.

Какъ относилось широкое общественное мнѣніе къ по-

литикъ Александра III? Поскольку она велась подъ флагомъ не *отмены*, а только исправленія произведенныхъ реформъ — большинство ее недостаточно понимало. А либеральное меньшинство, которое эту политику вѣрно оцѣнивало, могло дѣлать только одно: защищать реформы отъ искаженія. Мечты о наступленіи, объ увѣнчаніи зданія оно на время покинуло. Либеральное общество стало консервативнымъ, ибо защищало то, что уже было, отстаивало существующія позиціи противъ реакціонныхъ атакъ; оно понимало, что нужны не эффектные нападенія, а неблагодарная борьба на позиціяхъ. Ему приходилось защищать реформы отъ вреднаго «исправленія»; приходилось молчать о недостаткахъ реформъ, которыми прежде общество было само недоволено. Такъ создавалась не всегда искренняя идеализація реформъ и самой личности Александра II, которую застало поколѣніе 80-хъ годовъ. Тонъ политической печати этого времени сталъ умѣреннѣе и лояльнѣе. Люди боевого темперамента и особенно молодежь огорчались. Осторожности не дано увлекать, какъ увлекала смѣлость 60-хъ годовъ. Но за то своей цѣли эта позиція достигала. Она отнимала оружіе у реакціи и ея пылъ успокаивала; помогала тѣмъ сторонникамъ Великихъ Реформъ, которые на-верху, въ Государственномъ Совѣтѣ, въ «сферахъ» около Государя, поскольку могли, защищали реформы Александра II. Это помогало выиграть время и ослабить ударъ. Либеральная пресса за эти трудные годы дѣлала не эффектное и не благодарное, но за то несомнѣнно полезное дѣло.

Было и другое послѣдствіе. Нападки реакціи на учрежденія 60-хъ годовъ идеализировали ихъ въ глазахъ передовой части русскаго общества. Работа въ нихъ становилась идейною миссіей. Она стала труднѣе. И прежде данныя реформами права казались часто урѣзанными и стѣсненными; на это прежде громко указывали, старались права свои расширять, не боясь столкновеній; общественные дѣятель рисковали только *собою*. Теперь, когда увидѣли, на-

сколько это опасно для самих учреждений, поняли, что надо не критиковать, не осуждать, а беречь то, что имѣли. Началась въ обществѣ эра благоразумія, осторожности, компромиссовъ и уступчивости. Это вызывало со стороны нетерпѣливыхъ и щепетильныхъ людей нареканія и осужденія. Но эти скромные дѣятели спасали то, что было можно спасти.

Споръ за сохраненіе реформъ былъ единственной политической темой нашей печати. О движеніи впередъ молчали; о конституціи могла свободно говорить одна «реакція». Либерализму приходилось не поддаваться на провокацію правыхъ, не позволять себѣ даже намека, что *когда-нибудь* Самодержавія въ Россіи не будетъ; дѣйствительно о конституціи при Александрѣ III серьезно никто и не думалъ. Было легче представить себѣ въ Россіи революцію, чѣмъ конституцію. Вопросъ о ней съ очереди былъ окончательно снятъ.

Находились отдѣльные горячіе люди, которые думали о революціи и пытались идти къ ней другими путями. Но эти пути явно заводили въ тупикъ. Прошло время, когда Исполнительный Комитетъ могъ не бояться быть смѣшнымъ, ставя Государю условія для прекращенія террора. Революціонная дѣятельность теперь не кончалась, а *начиналась* арестомъ и ссылкой. Къ пострадавшимъ относились съ уваженіемъ, какъ къ героямъ и жертвамъ, но дѣятельность ихъ въ глазахъ всѣхъ была бесполезной. Политическое значеніе этихъ людей и методовъ возстановилось только позднѣе.

Восьмидесятые годы естественно были душны для тѣхъ, кто привыкъ къ 60-мъ годамъ. Въ наше время не было порывовъ впередъ, «завоеваній» и даже мало надеждъ. Либеральному меньшинству приходилось вести мало замѣтную мелкую работу, отказавшись отъ высокихъ задачъ. А у широкаго общества ослабѣлъ интересъ ко всякой политикѣ. Оно занималось своими дѣлами, добивалось личныхъ успѣховъ на существующихъ поприщахъ и не думало о борьбѣ съ государственною властью. Александръ III къ концу своей

жизни сталъ популяренъ. Вреда, который онъ принесъ Россіи, тогда не замѣчали. А успокоеніе ставили въ заслугу *ему*. А между тѣмъ жизнь не останавливалась; во время реакціи продолжалось перерожденіе русскаго общества. На сцену появлялось поколѣніе, которое не знало Николаевской эпохи и ея нравовъ. Реформы 60-хъ годовъ, освобожденіе личности и труда приносило свои результаты. Разслаивалось крестьянство, богатѣли города, росла промышленность, усложнялась борьба за существованіе. Настоящій ростъ общества не нуждается въ драматическихъ эпизодахъ. Такъ въ сѣрую эпоху 3-й и 4-й Думъ, а не въ бурные 73 дня 1-ой Государственной Думы укоренялся въ Россіи конституціонный порядокъ. Ни идеи Каткова и Побѣдоносцева, ни самодержавная власть Александра III не смогли заставить русское общество отказаться отъ преслѣдованія своихъ интересовъ и увѣровать, что оно живетъ только для того, чтобы процвѣтало Самодержавіе, Православіе и Народность. Рядовое общество думало о себѣ, своихъ удобствахъ и предъявляло къ власти *свои* требованія. Не профессионалы-политики, а простые обыватели стали практически ощущать дефекты нашихъ порядковъ. Неограниченное Самодержавіе было возможно при крѣпостномъ правѣ и 130 тысячахъ «даровыхъ полицмейстеровъ»; оно могло сохраняться въ переходное время, когда крестьяне еще ощущали себя особымъ низшимъ сословіемъ, а на образованный классъ смотрѣли какъ на господь. При 80-ти милліонномъ населеніи на всю Россію и при низкомъ *standart of life*, управление могло быть по силамъ старому аппарату. Но по мѣрѣ роста культуры, размноженія населенія, накопленія богатствъ и осложненія жизни онъ долженъ былъ совершенствоваться и приспособляться къ новымъ задачамъ. Этого онъ не сумѣлъ и этимъ показалъ свою неумѣлость. Но это наступило поздно. Въ 80-хъ годахъ реформы 60-хъ годовъ только начинали послѣдствія свои обнаруживать. Тамъ, гдѣ все идетъ нормальнымъ путемъ, гдѣ нѣтъ Революціи

которая какъ землетрясеніе погребаетъ цѣлыя пласты населенія, тамъ продолжается параллельное существованіе того новаго, что уже родилось, и стараго, что еще не умерло. Въ новомъ демократическомъ строѣ, созданномъ 60-ми годами, старина еще не исчезла съ ея типами, нравами и отношеніями. Русской жизнью еще владѣли старыя привычки и на ней лежалъ налетъ спокойствія, барской лѣни и благодушія; новая жизнь только пробивалась сквозь старую. Это давало 80-мъ годамъ особенный ихъ отпечатокъ, который исчезъ позднѣе уже на нашихъ глазахъ. И я еще вижу его сквозь свои дѣтскія воспоминанія.

Глава II.

СТАРШІЕ.

Мое дѣтство и юность протекли въ Глазной больницѣ, типичной для старой Москвы и Россіи. Кто ея не зналъ? Не нужно было говорить извозчику ея адреса. Долгое время она была единственной для Москвы и замѣняла университетскую клинику, пока въ 90-хъ годахъ не возникъ на частныя средства клинической городокъ на Дѣвичьемъ.

Больница была въ свое время создана тоже на частныя деньги. Знаменитый богачъ Александровской эпохи Мамоновъ пожертвовалъ на устройство больницы площадь въ самомъ центрѣ Москвы. Она занимала цѣлый кварталъ между Тверской, Мамоновскимъ, Благовѣщенскимъ и Трехпруднымъ переулками. Часть земли отъ Трехпруднаго переулка была позднѣе отчуждена; но и безъ нея владѣніе было громадно. Сосѣдній съ нею участокъ тотъ-же Мамоновъ пожертвовалъ Благовѣщенской Церкви. На него выходили больничныя окна. Помню войну между Церковью и больницей. Церковная земля оставалась проходнымъ пустыремъ

съ Тверской на Благовѣщенскій переулокъ. Но къ своимъ правамъ церковь относилась ревниво. Священникъ запрещалъ открывать больничныя окна и тѣмъ болѣе вылѣзть черезъ нихъ на церковную землю. Часть оконъ нашей квартиры выходили сюда. Изъ шалости мы, дѣти, это дѣлали. Священникъ грозилъ наши окна задѣлать. При насъ происходили совѣщанія доморощенныхъ адвокатовъ: имѣемъ ли мы право окна отворять, а священникъ имѣетъ ли право ихъ задѣлать? Никто этого точно не зналъ. Священникъ кончилъ тѣмъ, что насадилъ рядъ тополей передъ самыми окнами, чтобы закрыть отъ насъ свѣтъ. Все это характерно для времени, когда богатствъ было такъ много, что использовать ихъ не умѣли, но изъ-за нихъ все-таки ссорились: когда никто не зналъ границъ собственныхъ правъ, не умѣлъ ихъ защищать и сражался домашними средствами.

На больничной землѣ стояло нѣсколько зданій; но большая часть земли оставалась подъ дворомъ и садами. Садъ тянулся отъ самаго Мамоновскаго переулка до Благовѣщенскаго. Посреди зданій былъ большой дворъ, съ часовней для покойниковъ въ центрѣ. Кругомъ часовни было такъ много земли, что на дворѣ какъ на ипподромѣ можно было проѣзжать лошадей. А больничный священникъ, отецъ Георгій Соловьевъ такъ любилъ конское дѣло, что самъ этимъ занимался къ соблазну больныхъ.

Земельное владѣнiе больницы представляло позднѣе колоссальную цѣнность, но въ старое время стоило мало. Какъ въ первобытномъ государствѣ предпочитали платить служилымъ людямъ землей, а не деньгами, такъ во время Мамонова Глазную больницу было легче снабдить ненужной землей, чѣмъ капиталами. Земля долго лежала втунѣ, въ ожиданіи спроса, и ее можно было использовать только натурой. Весь персоналъ больницы, отъ высшихъ до низшихъ, имѣлъ въ ней квартиры. Въ помѣщеніяхъ не было недостатка. Смѣшно было бы говорить о жилплощади. Мы сами были примѣромъ. Мой отецъ поступилъ въ боль-

ницу еще холостымъ. По мѣрѣ того, какъ росла наша семья — а насъ было восемь человѣкъ дѣтей — увеличивали нашу квартиру въ разныя стороны, проламывали стѣны, новыя помѣщенія присоединяли къ прежней квартирѣ, изъ кладовыхъ подъ сводами дѣлали комнаты; кромѣ фасада на Тверскую, мы получили фасадъ еще на церковную землю. Мѣста въ больницѣ было достаточно еще для многихъ новыхъ квартиръ. Оставались кромѣ того кладовыя, подвалы, склады, въ которыхъ ничего не помѣщалось. Цѣлый этажъ былъ отведенъ подъ номера для больныхъ, которые не хотѣли лежать въ общихъ палатахъ. Этихъ номеровъ было такъ много, что большая часть ихъ оставалась пустыми; во время перестроекъ и заразныхъ болѣзней насъ туда переводили. Позднѣе, когда земля стала дороже, стало ясно, что если главное зданіе по Тверской обратить въ доходный домъ, то можно было бы на мѣстѣ ненужнаго сада и двора построить великолѣпную больницу по послѣднему слову науки. Но такой планъ превышалъ энергію распорядителей, а можетъ быть противорѣчилъ традиціямъ, какъ планъ Лопухина въ «Вишневомъ Саду» разбить имѣніе подъ дачи. Больница дожила до Революціи въ томъ видѣ, въ какомъ я ее помню съ самаго дѣтства, съ садами, допотопными постройками, съ глубокими сводами, съ толстыми стѣнами, которыхъ нельзя было бы прошибить шестидюймовыми пушками, съ широчайшими лѣстницами, но зато безъ центрального отопленія, съ печами, топившимися дровами, для которыхъ былъ устроенъ цѣлый дровяной складъ въ центрѣ владѣнія; долгу у насъ не было проведенной воды и канализаціи. Помѣщались мы на главной улицѣ города. Мимо нашихъ оконъ весной тянулись роскошныя выѣзды на катанье въ Петровскій паркъ; тутъ проходили коронаціонныя шествія. Каждую весну здѣсь шли съ музыкой и барабаннымъ боемъ войска на Ходынку, а лѣтомъ съ 6-ти часовъ утра по Тверской начиналось мычанье коровъ и свирель пастуха. Это московское стадо шло за заставу.

Характеръ «добраго стараго времени» лежалъ и на системѣ управленія нашей больницей. Въ 95-мъ году умеръ отецъ. Тогда мы изъ больницы уѣхали, и я въ нее больше не заходилъ. Но до 95 года все было безъ перемѣнъ и вездѣ сидѣли тѣ-же самые люди. Они всѣ были типичны.

Предсѣдателемъ Совѣта, главнаго органа больницы, былъ глубокой старикъ, знаменитый въ Москвѣ своей старостью Г. В. Грудевъ. За эту старость ему оказывали почетъ. При прїѣздахъ въ Москву Александръ III его отличалъ, какъ московскаго «патріарха». Онъ свои годы скрывалъ. Сначала признавалъ 84 года и на нихъ много лѣтъ оставался. Позднѣе сталъ молодиться и перешелъ на 70 лѣтъ. Изъ его послужнаго списка знали однако, что на государственную службу онъ поступилъ при императрицѣ Екатеринѣ II. Въ которомъ году и сколько лѣтъ свѣдѣній не было; а въ тѣ годы на службу записывали иногда новорожденныхъ. Но съ Грудевымъ повидимому это было не такъ; объ этомъ онъ самъ уморительно пробалтывался. Разъ у насъ за завтракомъ, вспоминая старые годы, онъ разсказалъ, какъ оказался примѣшанъ къ дѣлу декабристовъ. Онъ къ ночи вышелъ на Сенатскую площадь и по просьбѣ кого-то изъ раненныхъ далъ ему булку. Тотчасъ онъ былъ арестованъ. Его спрашивали, кто онъ такой, чѣмъ занимается и за чѣмъ давалъ хлѣбъ мятежнику. Грудевъ съ наивностью объяснилъ, что Евангеліе велитъ голодающихъ накормить. Черезъ нѣсколько недѣль ему объявили, что справки о немъ благопріятны, что его заявленія подтвердились и что онъ можетъ идти. Но отпустили его съ головою: «какъ Вамъ не стыдно, сказалъ ему Предсѣдатель, въ этомъ бунтѣ участвуютъ только мальчишки; Вы же пожилой человекъ, и Вы съ ними спутались». Итакъ въ 25 году Грудевъ уже былъ пожилымъ человекомъ. Александръ III при прїемѣ его какъ-то спросилъ, помнитъ ли онъ 12-ый годъ; Грудевъ отвѣтилъ: «какъ же Ваше Величество? Вѣдь это недавно. Какъ вчерашній день помню». Это не мѣшало ему

въ 90-хъ годахъ утверждать, что ему только 70 лѣтъ. Для своихъ лѣтъ онъ хорошо сохранился. У него были всѣ волосы, безъ признаковъ плѣши, только бѣлые какъ выпавшій снѣгъ; все лицо было въ мелкихъ морщинахъ. Онъ горбился, ходилъ опираясь на палку. Жевалъ губами, когда молчалъ, и чавкалъ, когда говорилъ. Онъ на моей памяти заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ. Всѣ ждали конца. Но онъ оправился и всѣхъ своихъ товарищей пережилъ. Умеръ онъ послѣ 905 г., когда я уже не жилъ въ Москвѣ. Какимъ я его помню въ самые дѣтскіе годы, такимъ онъ оставался и позже; можетъ быть немножко больше стибался и болѣе глухъ. Несмотря на старость, общественную службу онъ продолжалъ; оставался гласнымъ Думы и губернскаго земства. На собранія ѣздилъ всегда, сидѣлъ до конца и нерѣдко принималъ участіе въ преніяхъ. Но память и слухъ ему измѣняли. Онъ говорилъ не по вопросу, часто по дѣлу давно уже рѣшенному. Изъ уваженія къ его старости ему не мѣшали. Даже такой рѣзкій человѣкъ, какъ московскій городской голова Н. А. Алексѣевъ, когда Грудевъ во время чьей-либо рѣчи подымался со стула, дѣлалъ знакъ оратору, въ полъ голоса говоря: подождите — и дѣлалъ видъ, что Грудева слушаетъ. Когда онъ садился — продолжалъ прежнее засѣданіе. До конца своихъ дней Грудевъ былъ страстный садоводъ. Онъ жилъ въ особомъ флигелѣ больницы, выходившемъ въ Благовѣщенскій переулокъ, со своимъ особымъ садомъ, отрѣзаннымъ отъ главнаго сада въ его единоличное распоряженіе. Въ этотъ садъ никого не пускали; самъ онъ имъ очень гордился и занимался разведеніемъ разныхъ новыхъ цвѣтовъ. Быть допущеннымъ въ этотъ садъ было знакомъ особаго расположенія.

При Грудевѣ въ качествѣ хозяйки жила его племянница С. В. Якимова, сѣдая старушка, уже за 70 лѣтъ. По привычкѣ она считала себя около дяди маленькой дѣвочкой. Она иначе не называла себя въ письмахъ и разговорахъ, какъ племянницей Грудева. Она дошла до того, что

на визитныхъ карточкахъ заказала этотъ титулъ. Старый М. П. Щеткинъ, острый на языкъ, получивъ подобную карточку, при случаѣ послалъ ей свою, на которой выгравировать «крестный сынъ покойнаго Голохвастова». Она насмѣшки не поняла и пришла къ намъ спрашивать, какой это былъ Голохвастовъ?

Конечно, все это трогательно. Но характерно для старины, что человекъ, который очевидно уже ничего дѣлать не могъ, стоялъ во главѣ такого живого и нужнаго дѣла, какъ единственная Глазная больница Москвы. Иллюстрація того, что высшее начальство было часто въ Россіи простой *декораціей*, а для дѣла было ненужно. Это же освѣщаетъ и тогдашніе нравы. Никого не соблазняло, что Грудевъ несетъ отвѣтственный постъ; наоборотъ всѣ бы нашли неприличнымъ его за старостью лѣтъ удалить. Занимать это мѣсто было его «пріобрѣтеннымъ правомъ», котораго нельзя было отнять. Государственная служба не была служеніемъ *дѣлу*.

Для столѣтняго старца законъ могъ быть не писанъ; но Грудевъ исключеніемъ не былъ. Если онъ явно для всѣхъ былъ «декораціей», то подобнымъ же начальникомъ больницы, завѣдовавшимъ ея хозяйственной частью былъ другой «генералъ» Г. И. Керцелли. Толстый, съ шарообразной головой, съ круглыми глазами, плоскимъ черепомъ, покрытымъ прилизанными сѣдыми волосами, съ короткими бакками на трясущихся толстыхъ щекахъ, и пробритой дорожкой отъ рта по подбородку, онъ былъ главной фигурой больницы. Все утро сидѣлъ въ «канцеляріи», за большимъ зеленымъ столомъ и читалъ то «Московскія», то «Полицейскія» Вѣдомости. Ихъ читалъ онъ всегда, но кромѣ нихъ вѣроятно ничего не читалъ. Не знаю, гдѣ онъ получилъ образованіе; когда онъ пытался произносить иностранныя слова, то даже мы — дѣти — смѣялись. Онъ былъ чиновникъ Николаевской службы, дѣйствительный статскій совѣтникъ, чѣмъ очень гордился. Когда онъ получилъ ор-

день, который по статуту сопровождался письмомъ за подписью Государя, онъ отслужилъ молебенъ по этому поводу и ходилъ всѣмъ подпись показывать. Низшимъ служащимъ больницы онъ внушалъ почтительный страхъ. Говорилъ всегда и со всѣми такимъ голосомъ какъ будто за что-то отчитывалъ. Простѣйшіе разговоры его были обстоятельны и скучны, какъ служебный докладъ. Даже когда онъ рассказывалъ смѣшныя вещи, никогда не могло быть смѣшно. Впрочемъ важность его была внѣшняя. По существу онъ былъ добрякомъ и въ домашней обстановкѣ всѣ трунили надъ нимъ и его генеральской манерой. Его въ шутку звали не Гавриль Ивановичъ, а Рылю Ивановичъ. Какъ настоящій старый чиновникъ, къ своему начальству онъ былъ почтителенъ, одобрялъ все, что оно бы ни дѣлало. Я говорилъ, какъ онъ радовался, что въ Манифестѣ 29 апрѣля конституціи не было; если бы была конституція, онъ и отъ нея пришелъ бы въ восторгъ. Внѣшне онъ былъ представителемъ. Былъ церковнымъ старостой больничной церкви, подпѣвалъ пѣвчимъ, а по торжественнымъ днямъ въ вицъ-мундирѣ и съ орденами на шеѣ, подтягивая толстый животъ и извиваясь всѣмъ станомъ, съ любезной улыбкой обходилъ съ тарелкой молящихся. Онъ служилъ еще въ Страховомъ обществѣ и всегда рассказывалъ о страховыхъ дѣлахъ, хотя это ни для кого не было интересно. Его досуги пополняли карты, къ которымъ онъ относился серьезно, какъ къ службѣ, отчитывая партнеровъ за неудачные ходы. Такова была главная персона въ больницѣ. Но ни чтеніе «Вѣдомостей» въ канцеляріи, ни генеральскій чинъ и наружность, ни почтительность къ высшимъ, ни грозные окрики на низшихъ недостаточны, чтобы управлять сложнымъ дѣломъ. И Керцелли тоже былъ декорацией меньшаго калибра, чѣмъ Грудевъ.

Въ старину всѣмъ распоряжались маленькіе незамѣтные люди. Россіей управляютъ столоначальники — говорилъ самъ Николай I. Въ больницѣ главнымъ работникомъ

былъ съ экономъ Алексѣй Ильичъ Лебедевъ. Къ нему обращались за всякой надобностью. Онъ былъ общимъ повѣреннымъ и исполнителемъ. Ни въ чемъ никому не отказывалъ, на все находилъ время и какіе-то ходы и связи. Человѣкъ простой, нечиновный онъ приходилъ къ главнымъ лицамъ больницы не въ гости, а только по дѣлу. Но на немъ все держалось. Чтобы ни случилось, я всегда слышалъ фразу: «надо сказать Алексѣю Ильичу». Небольшой, тщедушный человѣкъ, веселый, не унывающий, онъ не показывалъ вида, что свое положеніе понимаетъ; но все управленіе шло *черезъ него*. Когда я былъ уже студентомъ, я съ нимъ ближе сошелся. Онъ былъ страстный охотникъ, хотя охотился рѣдко, а стрѣлялъ совсѣмъ плохо. Въ минуты откровенности онъ мнѣ показывалъ, что отлично понимаетъ недостатки больницы и ея управленія; понималъ и то, что самъ могъ бы на этомъ наживаться вполне безопасно. Но онъ былъ человѣкъ честный и въ то-же время нетребовательный; состоянія онъ себѣ не пріобрѣлъ и за нимъ не гнался. Но только благодаря ему машина не останавливалась. Но конечно не ему было дѣлать въ больницѣ нововведенія, ломать заведенные порядки. Все шло по натореннымъ издавна путямъ. На этомъ держался консерватизмъ того времени и нерасположеніе къ новшествамъ. Рутинная жизнь была еще совершенно возможна въ то время.

У него былъ незамѣнимый помощникъ, безъ котораго также трудно было себѣ представить больницу, какъ вообще «генеральскую» Россію безъ Щедринаскаго «мужика». Это былъ больничныи швейцаръ В. М. Моревъ — Николаевскій солдатъ, съ четырьмя крестами и медалями на Георгіевскихъ лентахъ. Кресты онъ получилъ за Венгерскую кампанію 48 года и за Севастополь. Удивительные типы создавало то жестокое время! Моревъ былъ гордъ, что прожилъ всю жизнь солдатомъ при Николаѣ; на новыхъ солдатъ смотрѣлъ не безъ презрѣнія: «что они понимаютъ!» Ему было уже тогда много лѣтъ, но онъ казался мощной фигурой, пол-

ной здоровья и силъ, съ порѣдѣвшими, но не сѣдыми волосами, съ большими усами и достойнымъ представительнымъ видомъ. Какъ его хватало на все? О меньшей братіи тогда мало заботились. Не было ни американскихъ ключей, ни электрическихъ проводовъ; надо было ему самому открывать входную дверь. Онъ не ложился спать, пока всѣ домой не возвратились. Мнѣ случалось въ студенчествѣ возвращаться подъ утро и звонкомъ я его подымалъ съ деревянной скамьи, на которой онъ прикурнулъ. Если я былъ послѣдній, онъ при мнѣ уходилъ къ себѣ спать. Сколько разъ я пытался съ нимъ говорить, завести себѣ второй ключъ. Онъ не хотѣлъ слышать про это; «что Вы, помилуйте, я тутъ сплю отлично; а на мнѣ вся больница». Дѣйствительно двери нашей квартиры въ швейцарскую не запирались и теперь я не понимаю, почему мы не были до чиста обворованы и спали спокойно съ охраной *одного только* Морева.

Ежедневное ночное дежурство не мѣшало Мореву раньше всѣхъ утромъ подняться. Если кому либо надо было рано вставать, то достаточно было попросить Морева во время разбудить; онъ не проспигь и не забудеть. Всѣ на перебой давали ему порученія, далеко выходяшія за предѣлы его обязанностей. Не было случая, чтобы онъ отъ чего-нибудь отказался, или чего-нибудь не умѣлъ. Когда его спросишь: «Можешь ли это сдѣлать»? — онъ презрительно отвѣчалъ: «Николаевскій солдатъ, да не можетъ»? И онъ все умѣлъ, портняжилъ, сапожничалъ, столярничалъ, клеилъ и т. д. Когда я поступилъ въ гимназію и въ первый разъ шелъ на урокъ, Моревъ внимательно осмотрѣлъ мою обмундировку, многого не одобрилъ и передѣлалъ. Перемѣнилъ ремни на ранцѣ, въ незамѣтныхъ мѣстахъ шинели вшилъ лоскутки съ фамиліей, чтобы пальто не подмѣнили. Онъ повсюду искалъ самъ работы; не могъ оставаться безъ дѣла. А въ праздничные дни, когда больничная церковь наполнялась московскимъ *beau monde*'омъ, онъ съ искусствомъ, безъ

номерковъ, умѣлъ всѣхъ запомнить, узнать и подать каждому его шубу.

Ребенкомъ я разспрашивалъ Морева про войну; допытывался, случалось ли ему убивать челоѡѡка? Онъ вспоминалъ неохотно и отъ прямого отвѣта отвиливалъ: «лучше не спрашивайте». Зато рассказывалъ про дисциплину, про строгости; описывалъ какъ наказывали шпицрутенами; но вспоминалъ все безъ озлобленія. «Много насъ учили, но зато уже и научили. Гдѣ Вы найдете челоѡѡка, какъ Николаевскій солдатъ? Развѣ теперешніе въ четыре года могутъ чему-нибудь научиться?»

Привычка къ дисциплинѣ въ него вѣлася очень глубоко. Онъ былъ счастливъ титуловать Керцелли «превосходительствомъ» и его генеральская манера его только радовала. Когда мой отецъ былъ сдѣланъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и Моревъ сталъ титуловать его «превосходительствомъ», то на возраженіе отца онъ обидѣлся: «что Вы, помилуйте, я ли порядковъ не знаю?»

По должности Моревъ былъ только швейцаромъ, какъ Алексѣй Ильичъ экономомъ. Но фактически онъ былъ начальникомъ надъ всѣмъ низшимъ персоналомъ больницы. Его всѣ уважали, да и боялись. Онъ былъ настоящей унтеръ-офицеръ надъ солдатами. Онъ разносилъ, ругалъ, можетъ быть билъ; еще больше стыдилъ всѣхъ прикѡромъ. Но онъ никогда ни на кого не пожаловался. Это было бы для него унижительно, признать неумѣніе справиться; это было и не по-товарищески. Онъ разъ пенялъ при мнѣ на своего помощника. Я сказалъ: «что ты не расскажешь Алексѣю Ильичу»? «Что Вы, развѣ на маленькаго челоѡѡка можно жалиться?»

Конецъ Морева вышелъ трагичный. Съ нимъ жила жена, худенькая, маленькая старушка, передъ нимъ трепетавшая, не называвшая его иначе, какъ «Василій Михайловичъ» и «Вы». У нихъ было двое дѣтей, сынъ и дочь, которыхъ онъ образовалъ и вывелъ въ люди. Онъ остался съ же-

лой одинъ; но когда его жена умерла, старикъ этого не пережилъ и съ горя запилъ запоемъ. Было больно смотрѣть, какъ онъ ходилъ съ краснымъ опухшимъ лицомъ, безъ всякаго повода плакалъ, все забывалъ и путалъ, но не хотѣлъ уступать своего дѣла другимъ. Ему дали отпускъ, помѣстили въ больницу, лѣчили. Но все было напрасно. Пришлось его расчитать; онъ гдѣ-то самъ лѣчился и вылѣчился. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ вернулся здоровый, его опять взяли на мѣсто. Онъ отслужилъ торжественный молебенъ, удвоилъ усердіе; но болѣзнь не прошла. Онъ снова запилъ и — что хуже — изъ кармановъ шубъ стали пропадать разныя мелочи. Онъ снова и уже навсегда ушелъ изъ больницы; не знаю, какъ и гдѣ онъ кончилъ. Это былъ, конечно, уже вымирающій типъ прежняго времени, какъ старыя крѣпостныя или дворовыя. Въ 80-хъ годахъ они еще были. И тамъ гдѣ они сохранялись, на нихъ все держалось. Это было символомъ *старой Россіи*.

Я говорилъ про управление хозяйственной частью больницы; но оставалась еще ея врачебная часть. Въ 60-хъ годахъ въ этомъ отношеніи произошло какъ вездѣ крупное преобразование; весь устарѣвшій персоналъ былъ обновленъ. Но новое вино скоро разложилось въ старыхъ мѣхахъ.

Главнымъ врачомъ былъ профессоръ Университета Густавъ Ивановичъ Браунъ. Почтенный старикъ, съ толстой шеей, краснымъ лицомъ, сѣдой подстриженной бородой и съ золотыми очками, покрывавшими добрыя, голубые глаза. Онъ держалъ себя совсѣмъ старикомъ, ходилъ медленной походкой, кряхтѣлъ и гримасничалъ, когда вставалъ или садился. Онъ мало работалъ въ больницѣ, полагаясь во всемъ на другихъ. Ежедневно заходилъ въ пріемную на короткое время и тотчасъ уходилъ извиняясь, что у него «неотложное дѣло». Это онъ повторялъ каждый день. Всѣ это заранѣе знали, но этотъ ненужный декорумъ онъ соблюдалъ ежедневно; свои занятія въ больницѣ онъ ограничивалъ чтеніемъ лекцій. Было странно подумать, что когда-

то онъ прѣхалъ въ Москву молодымъ ученымъ, подававшимъ надежды, полнымъ силъ и энергіи: былъ учителемъ почти всѣхъ московскихъ офтальмологовъ. Постепенно онъ успокоился, измѣнился, растолстѣлъ, пересталъ работать и несъ службу не волнуясь и не кипящаясь, чтобы не портить здоровья. Онъ равнодушно смотрѣлъ, какъ больница отставала, противился всякому нововведенію; «знаете ли что?» отвѣчалъ онъ на всѣ предложенія: «мы лучше подождемъ».

Въ 90-хъ годахъ стали строить клиники на Дѣвичьемъ полѣ. Отъ Брауна зависѣло устройство Глазной клиники. Но онъ ею не интересовался. Не отстаивалъ кредитовъ на нее, не слѣдилъ за архитекторомъ, со всѣми урѣзками соглашался, не собираясь использовать этого случая, чтобы создать больницу современнаго типа. Онъ впрочемъ понималъ, что съ его стороны это не хорошо и передалъ заботы о клиникѣ моему отцу, который по его плану долженъ былъ замѣнить его въ профессорѣ. Онъ этотъ планъ выполнилъ, хлопоталъ о назначеніи отца на свое мѣсто, а пока поручилъ ему слѣдить за устройствомъ клиники. Самъ же этимъ онъ интересовался такъ мало, что насколько помню, не былъ даже на торжествѣ открытія клиники, не изъ-за недоброжелательства, а просто по лѣни. Браунъ былъ честный, хорошій, культурный нѣмецъ, который обрусѣлъ, приспособился къ медлительнымъ темпамъ русской жизни и не любилъ зря волноваться и беспокоиться. Онъ никому не дѣлалъ зла, и непріятностей, но и не видѣлъ надобности не только тянуть служебную лямку, а и стараться приносить ею пользу. Самъ онъ былъ богатъ, имѣлъ въ Москвѣ нѣсколько доходныхъ домовъ, въ больницѣ занималъ большой особнякъ по Мамондовскому переулку, съ большимъ ему отведеннымъ садомъ, и хвастался тѣмъ, что «экономенъ». Любилъ играть въ карты, но непременно по маленькой, ходилъ каждый вечеръ ужинать въ англійскій клубъ, выбирая самыя дешевыя блюда. Въ немъ было много комичнаго. Какъ

обрусѣлый нѣмецъ, былъ горячимъ русскимъ патриотомъ, и изъ патриотизма всегда во всемъ соглашался съ правительствомъ. Говорилъ съ рѣзкимъ нѣмецкимъ акцентомъ, употреблялъ мягкое нѣмецкое х вмѣсто г. (холобчихъ), считалъ себя большимъ знатокомъ русскаго языка и немилосердно перевиралъ поговорки. Много его изреченій перешло въ юмористическую литературу. Это онъ говорилъ: «пуганая ворона дуется на молоко», или «наплюй въ колодець, послѣ будешь воду пить», «не стоитъ выѣденнаго гроша», «у нищаго сумму отнял», и т. д. По наивности онъ позволялъ себѣ выходки, о которыхъ потомъ всѣ говорили. Какъ-то въ присутствіи постороннихъ гостей, онъ все вздыхалъ; его спросили, что съ нимъ? Онъ отвѣтилъ: «Эхъ, нехорошо-съ; Юлинька съ рукъ нейдутъ-съ». Юлинька была его старшая дочь, которая, несмотря на отличное приданное, не находила себѣ жениха. Это свое семейное огорченіе Браунъ счелъ нужнымъ публично *встѣмъ* сообщить. Другой разъ у него въ кабинетѣ играли въ карты. Его лакей пришелъ его о чемъ-то спросить втихомолку. Тугой на ухо Браунъ не разслышалъ; онъ попросилъ постей замолчать. Лакей продолжалъ шептать на ухо, но Браунъ все не понималъ. «Господа, сказалъ онъ, вийте-ка на минуточку, мнѣ нужно Ивану два слова сказать». Никто не обидѣлся; это было чистымъ Брауномъ. Онъ первый отпраздновалъ свой юбилей, но товарищей своихъ пережилъ; онъ умеръ, когда я уже не жилъ въ больницѣ.

Во время моей жизни въ больницѣ я былъ слишкомъ молодъ, чтобы о ней судить; помню, что мой отецъ досадовалъ на невозможность добиться въ ней улучшеній, на то, что его товарищи всегда находили причину все оставить по-старому. У моего отца была повышенная склонность ко всякимъ техническимъ новшествамъ; въ томъ отношеніи онъ могъ быть пристрастенъ. Но вспоминая фигуры хозяевъ больницы, я сознаю, что они могли жить только по старымъ традиціямъ. Если они съ дѣломъ справлялись, то по-

тому, что патріархальный бытъ, привязанность къ старому и низкій *standart of life* были въ нравахъ русскаго общества. Конкуренція, необходимость приспособляться къ общественному мнѣнію были только въ зародышѣ. Всѣмъ казалось естественно, что во главѣ хозяйства стоятъ ничего недѣлающіе тайные совѣтники, а что вся работа лежитъ на маленькомъ экономѣ. Никого не коробило, что старикъ Моревъ одинъ работалъ за десятерыхъ. Это казалось столь же нормальнымъ, какъ то, что больница своихъ богатствъ не использовала, что у нея въ самомъ центрѣ города были сады, стѣны, напоминавшія крѣпость, готическіе своды въ *rez-de-chaussée*, громадныя кладовыя и въ то же время никакихъ современныхъ удобствъ. Больница не была исключеніемъ; этотъ уровень жизни, ея медлительный темпъ, благодушная увѣренность, что иначе невозможно, и отсутствіе необходимости переходить къ болѣе совершеннымъ, а потому и труднымъ методамъ общежитія, было общимъ явленіемъ 80-хъ годовъ. Для такого порядка жизни годилось и Самодержавіе. Перемена жизни Россіи произошла не отъ политической пропаганды, а отъ простого роста населенія, отъ улучшенія техники, осложненія экономической жизни, съ которыми Самодержавіе справиться не сумѣло, какъ не сумѣла позднѣе наша больница справиться съ появившейся конкуренціей. Но учрежденія противъ нравовъ запаздываютъ и приходятъ съ ними въ конфликтъ. Однажды кажется въ «Русскомъ Курьерѣ» появилось юмористическое описаніе пріема въ нашей больницѣ, за подписью барона Иксъ. Оно было шаржемъ не вполне справедливымъ. Но оно возмутило наше начальство: «какъ посмѣли такъ писать о государственномъ учрежденіи»? Хотѣли ѣхать жаловаться генераль-губернатору. Къ счастью отъ этого удержали. Одна изъ чертъ патріархальнаго быта состояла въ томъ, что обществу критиковать не полагалось; его дѣло было благодарить за заботы о немъ. Эта черта у всякаго начальства была общая съ Самодержавіемъ.

А нельзя не сказать, что тогда считалось нормальным многое, что сейчас бы показалось чудовищным. В больницѣ была домовая церковь; и въ эту больничную церковь не пускали *больныхъ*. Они могли присутствовать только на хорахъ да пріоткрывали двери въ сосѣднія палаты и туда могла издали доноситься церковная служба. Самую же больничную церковь наше начальство превратило въ свѣтскую домовую церковь для избраннаго московскаго общества. Приходившіе сюда знатные люди не изъ чего не могли бы догадаться, что находились въ больницѣ. Развѣ въ Великую Пятницу и въ Пасхальную ночь, когда крестный ходъ проходилъ по больничнымъ палатамъ, откуда больныхъ удаляли, то по отодвинутымъ къ стѣнѣ кроватямъ и надписямъ можно было понять, что это были палаты больныхъ. Больные же удалялись еще дальше, благо помѣщеній было много, и на крестный ходъ могли смотрѣть только черезъ щелку двери. Въ церкви же публика была отобранная, аристократическая, не рисковавшая тѣмъ, что окажется рядомъ съ простолюдиномъ. И Керцелли съ сдержаннымъ восторгомъ въ лицѣ встрѣчалъ высокопоставленныхъ лицъ, приказывалъ подавать имъ стулья по рангу и благодарилъ за посѣщеніе. Никому въ то время не казалось скандальнымъ, что церковь въ больницѣ считали не мѣстомъ утѣшенія для слѣпнувшихъ и слѣпыхъ, а модною церковью для *beau-monde'a*. Не было протестовъ не только со стороны этого *beau-monde'a*, который могъ бы понимать, что онъ дѣлаетъ, но и со стороны самихъ больныхъ, печати и т. д. Прежніе нравы не были все унесены горячкой 60-хъ годовъ, и еще сидѣли въ душѣ. Не исчезло раздѣленіе на бѣлую и черную кость. Помню и другія проявленія этого. Огромный больничный садъ былъ раздѣленъ на три части, изъ которыхъ двѣ лучшія и большія были отведены Грудеву и Брауну; для больныхъ оставалась только средняя часть, меньше другихъ. Въ этой части были построены лѣтніе бараки и туда переводились на лѣто больные; садъ былъ такъ великъ, что и эта часть для больныхъ тѣсна не была; но сравненіе съ вели-

колѣднымъ и большимъ садомъ, куда больныхъ не пускали, должно было бы ихъ возмущать. Когда я былъ студентомъ, я объ этомъ заговорилъ съ Керцелли. Онъ весело разсмѣялся, видя въ этомъ съ моей стороны ребячество, для моего возраста извинительное.

Эти несимпатичныя черты «барства» были только оборотной стороной того навѣки исчезнувшаго прошлаго, которое доживало послѣдніе дни въ 80-хъ годахъ. Юность наблюдаетъ не только отцовъ, но и дѣдовъ, и прадедовъ. Мы, поколѣніе девяностыхъ годовъ, помнимъ не только шестидесятниковъ, нашихъ отцовъ. Мы застали еще нѣкоторыя красочныя фигуры людей сороковыхъ и даже тридцатыхъ годовъ. Въ наши зрѣлые годы они исчезли со сцены, но тогда на нихъ былъ еще особенный колоритъ уже намъ непонятнаго времени.

Помню, на примѣръ, стараго человека, который у насъ часто бывалъ; пріѣзжалъ даже въ деревню специально собирать грибы. Мы, дѣти, называли его обезьяной. Онъ былъ страшнаго, дикаго вида, съ всегда растрепаной шевелюрой, строгими глазами, которые смотрѣли на насъ поверхъ золотыхъ очковъ, нахмуренными бровями, сѣдыми волосами, растущими на щекахъ, на горлѣ и изъ ушей, съ рѣзкими голосомъ, такъ что казалось, что онъ со всѣми бранится, и ежеминутными вспышками раскатистаго хохота. Всѣ обращались съ нимъ съ особымъ почтеніемъ, а онъ всѣхъ всегда разносилъ, не объясняя причины. Намъ нравилось, что отъ него такъ попадаетъ и старшимъ. Я поинтересовался узнать, почему ему все позволяютъ? Мнѣ объяснили, что это главный докторъ Москвы. Такой отвѣтъ былъ понятенъ, но я удивлялся, почему же тогда насъ лѣчатъ не у него? Это былъ не главный докторъ, хотя онъ былъ врачомъ инспекторомъ *). Это былъ знаменитый Н. Х. Кетчеръ. Позднѣе въ нашей библіотекѣ я нашелъ на пол-

*) Это было тоже для Москвы характерно. Какая связь осталась у него съ медициной? Но онъ былъ Кетчеръ, и его изъ почтенія посадили на мѣсто, гдѣ онъ конечно былъ не къ чему.

кахъ много неразрѣзанныхъ томовъ перевода Шекспира, подписанныхъ фамиліей Кетчера. То, что онъ написалъ столько книгъ его въ моихъ глазахъ подняло. Но я не понималъ, зачѣмъ онъ переводить, а не напишетъ чего-нибудь самъ. За разъясненіемъ этого недоразумѣнія я къ нему обратился. Онъ захохоталъ своимъ хохотомъ: «А ты думалъ, что я напишу лучше Шекспира?» На свой переводъ онъ положилъ много труда, но насколько помню, переводъ никуда не годился. П. Шумахеръ написалъ про него четверостишіе:

«Вотъ еще свѣтило міра,
Кетчеръ другъ шипучихъ винъ
Переперъ онъ намъ Шекспира
На языкъ родныхъ осинъ».

Кетчеръ любилъ вышить, особенно шампанскаго. Тогда онъ много рассказывалъ, какъ всегда кричалъ и хохоталъ. Эти рассказы про старину въ то время меня не интересовали. Какъ бы я хотѣлъ ихъ послушать позднѣе!

Помню другого старика, чьи стихи сейчасъ я цитировалъ — Шумахера. Долго мы его знали только по имени Петръ Васильевичъ. Толстый, обрюзгшій, съ русой головой, еле подернутой серебромъ на вискахъ, безъ признака лысины, безъ бороды, съ мѣшками подъ глазами, вѣчно страдавшій подагрой. Онъ приходилъ очень часто и всегда оставался подолгу; пока старшіе были заняты, онъ молча сидѣлъ и курилъ янтарную трубку, съ необыкновеннымъ искусствомъ пуская дымъ кольцами; то читалъ какую-нибудь книжку, то разговаривалъ съ нами, дѣтьми. Онъ намъ рассказывалъ интересныя и неожиданныя вещи то про Сибирь, про мѣста, гдѣ никто еще не жилъ, гдѣ звѣри и птицы человѣка совсѣмъ не боялись. Рассказывалъ, какъ однажды дикій олень къ нему подошелъ со спины такъ тихо, что онъ не замѣтилъ, пока не почувствовалъ его дыханія уже на шеѣ; въ то время онъ былъ золотопромышленникомъ и искалъ золотыхъ росышей въ дикихъ мѣстахъ. То раз-

сказывалъ, какъ служилъ при генералѣ-губернаторѣ Милорадовичѣ и какъ тотъ, подписывая подорожныя, дѣлалъ густой росчеркъ, бросая тутъ-же перо (конечно гусиное), а онъ долженъ былъ это перо подымать и обстригать. Это былъ недостаточно оцѣненный, и еще менѣе себя самъ цѣнившій поэтъ П. В. Шумахеръ. Никто какъ слѣдуетъ не зналъ его прошлаго. Объ немъ можно было только догадаться по отдѣльнымъ его рассказамъ: такъ знали, что онъ былъ когда-то богатѣйшимъ золотопромышленникомъ, а въ какое-то другое время маленькимъ чинушей при Генералѣ-Губернаторѣ, и на немъ былъ отпечатокъ старины. Какъ-то еще не будучи гимназистомъ я долженъ былъ вмѣстѣ съ нимъ поѣхать въ наше имѣніе. Я нашелъ его на вокзалѣ безпомощно сидящимъ, съ багажемъ на скамейкѣ. Онъ не сдалъ багажа и билета не взялъ. Я все это сдѣлалъ. Онъ сталъ хвалить новое поколѣніе, удивлялся, какъ это мы умѣемъ сами все дѣлать? «А насъ какъ воспитывали», говорилъ онъ: «ѣздили мы съ цѣлой ротой слугъ, ничего сами не знали. Намъ и подорожную пропишутъ и смотрителя запугаютъ и лошадей достанутъ; зато теперь мы ничего и не умѣемъ». Въ мое время онъ былъ разоренъ и жилъ гостепріимствомъ друзей. Для него дѣлали литературно-музыкальные вечера, гдѣ выступали лучшіе артисты. Тамъ я слышалъ еще совсѣмъ молодую М. Н. Ермолову; на нихъ пріѣзжалъ И. Ф. Горбуновъ, котораго мнѣ только тамъ удалось услышать. Но прежнее гостепріимство становилось не по карману. Въ послѣдніе годы П. В. Шумахера помѣстили въ страннопріемный домъ Шереметьева, дали ему синекуру — должность бібліотекаря съ жалованьемъ. Онъ получилъ доступъ къ книгамъ и былъ безконечно доволенъ. Тамъ онъ и умеръ. Послѣ его смерти я узналъ не безъ изумленія, что этотъ типично «русскій» человекъ былъ лютераниномъ и потому погребенъ на Введенскихъ горахъ.

Онъ былъ на рѣдкость начитаннымъ и образованнымъ человекомъ; говорилъ на всѣхъ языкахъ, много бывалъ за-

границей; былъ знакомъ съ массою интересныхъ людей (у него не прекращалась переписка съ Тургеневымъ). Но когда я его зналъ, онъ жилъ московскою жизнью, ничѣмъ не занимался; первую половину дня сидѣлъ дома въ халатѣ, а на вторую собирался къ кому-нибудь изъ знакомыхъ и до ночи пилъ съ друзьями вино, потѣшая каламбурами и остротами. Онъ былъ несравненно интереснѣй и выше своей обычной среды и въ ней опускался; онъ это хорошо сознавалъ, но къ этому былъ равнодушенъ. По природѣ онъ былъ надѣленъ рѣдкимъ юморомъ; вся манера его говорить серьезно, какъ бы вдумчиво, медленными фразами, изъ которыхъ вдругъ выскакивала неожиданная шутка, была для него характерна. Какъ то у него болѣлъ палецъ; отецъ нашелъ, что нужно прижечь ляписомъ. «А у Васъ ляписъ есть? — освѣдомился онъ съ интересомъ. «Есть», и отецъ открылъ шкафъ. «Въ такомъ случаѣ не надо», отвѣтилъ Шумахеръ. Когда кто либо передавалъ какой-либо слухъ или сплетню «изъ достовѣрныхъ источниковъ», Шумахеръ дѣлалъ серьезное лицо и обстоятельно спрашивалъ: «а кто при этомъ былъ»? Всѣ его рассказы о прошломъ заставляли смѣяться; во всемъ онъ любилъ и умѣлъ подмѣчать комическій элементъ.

Поклонникъ старины П. С. Шереметьевъ послѣ его смерти издалъ книжку о немъ и напечаталъ кое-что изъ его сочиненій; и при жизни его была выпущена тоненькая брошюрка его стиховъ подъ заглавіемъ «Шутки послѣднихъ лѣтъ». Тамъ были перлы остроумія, которые грѣхъ забыть русской литературѣ; она впрочемъ до революціи ихъ и не забывала; забыть былъ только *авторъ*. «Записки русскаго туриста», «Не то», «Нѣмецкая любовь», «Матушка Москва» часто читались на вечерахъ безъ упоминанія автора. И это было ничтожной каплей того, что онъ вообще написалъ. Когда онъ проводилъ у насъ лѣто въ деревнѣ, проходилъ рѣдкій день, чтобы онъ по какому-либо поводу не написалъ шуточнаго стихотворенія. Все это забывалось, выбра-

сывалось и терялось. Своихъ богатствъ мы не берегли. Кое-что оставалось въ памяти, но забывалось. Такъ мнѣ вспоминается одна его пародія на Фетовское «Шопоть, робкое дыханіе». Привожу ее потому, что кажется она напечатана не была.

«Незабудка на полѣ,
Камень-бирюза,
Цвѣтъ небесъ въ Неаполѣ,
Любушки глаза.
Моря андалузскаго
Блескъ, лазурь, сафиръ —
И жандарма русскаго
Голубой мундиръ».

Была другая причина, почему послѣ Шумахера мало осталось. Рѣдко стихотвореніе его было печатно. Мнѣ говорилъ Шереметьевъ, что это очень ему мѣшало, когда онъ издавалъ свою книгу. Но было бы ошибочно думать, что у Шумахера былъ особенный вкусъ къ непечатной литературѣ; это просто больше подходило къ атмосферѣ шутокъ и смѣха, въ которую онъ себя умышленно ставилъ, чтобы не быть меланхоликомъ. Напротивъ, онъ былъ тонкимъ цѣнителемъ серьезной, даже классической литературы. Когда я перешелъ въ 3-ій классъ гимназіи и сталъ учиться греческому языку, онъ мнѣ подарилъ рѣдкое изданіе Иліады и Одиссеи 17 вѣка въ пергаментномъ переплетѣ. На первой страницѣ написалъ посвященіе гекзаметромъ.

«Съ дѣтства до старости лѣтъ на мишуру все глядѣли
Слабые очи мои лучшихъ не видѣвъ красотъ
Милостивъ къ юношѣ Зевсъ, даровавъ ему высшее зрѣ-
нъе

И указавъ ему путь въ область нетлѣнной красы».

«Васѣ Маклакову на память отъ стараго хрѣна».

Эта книга хранилась въ нашей деревенской библіоте-

кѣ Ее, сначала націонализировали, а потомъ превратили въ «народную» бібліотеку. Можно представить насколько эта книга тамъ оказалась полезной.

Шумахеръ былъ бы оригиналенъ повсюду. Жизнь его прошла черезъ колебанія большей амплитуды. Но онъ былъ все же типиченъ для Россіи и особенно для Москвы стараго времени; когда жили не торопясь, не толкаясь; когда «съ забавой охотно мѣшали дѣла»; когда люди въ родѣ Чацкого попадали въ сумасшедшіе, въ чемъ Грибоѣдовъ пророчески провидѣлъ судьбу Чаадаева; когда и время, и деньги и таланты тратились безъ счета. Но въ эти годы медленно уже шло молекулярное перерожденіе организма Россіи. Исчезли типы покорныхъ крѣпостныхъ и дворовыхъ паразитовъ, исчезали гостепріимные лѣнивые баре, появлялись *nouvelles couches sociales*; прежняя лѣнь, благодушіе и щедрость становились уже никому не по карману, жить становилось труднѣе и сложнѣе, укладъ жизни требовалъ новыхъ государственныхъ пріемовъ, которыхъ не умѣло дать Самодержавіе. Все это настало позднѣе. 80-ые годы еще были «зарей вечерней» *прежней* Россіи.

Конечно дѣтскія наблюденія односторонни; не я свою среду выбиралъ. Одинъ міръ былъ мнѣ всегда чуждъ: это міръ представителей власти, кромѣ опальныхъ. Но въ дѣтскіе годы случайно мнѣ пришлось немного прожить и въ этомъ мірѣ; онъ былъ того же стила.

Я былъ въ третьемъ классѣ гимназіи, когда одна изъ моихъ сестеръ заболѣла дифтеритомъ. Дѣтей изъ дому выселили. Я возвращался изъ гимназіи, когда Моревъ меня домой не впустилъ и сообщилъ, что мы, трое братьевъ, переселены въ домъ московскаго губернатора и что я не заглядывая домой туда долженъ идти. По дорогѣ въ гимназію я ежедневно ходилъ мимо этого дома съ внушительнымъ подъѣздомъ, съ стеклянной дверью, за которой внутри былъ всегда виденъ жандармъ. Я отправился туда не безъ смущенія. Мы прожили тамъ до лѣта. Этотъ губернаторскій

домъ былъ тогда уголкомъ той же патріархальной Москвы 80-хъ годовъ. Губернаторомъ былъ В. С. Перфильевъ, женатый на Прасковьѣ Федоровнѣ Толстой, дочери знаменитаго «американца» Федора Ивановича Толстого, о которомъ писалъ и Грибоѣдовъ и Пушкинъ.

Великолѣпный портретъ этого Ф. И. Толстого съ интереснымъ и своеобразнымъ лицомъ висѣлъ у нихъ въ гостиной. Перфильевы были одни (женатый ихъ сынъ жилъ отдѣльно) и взяли на себя заботу пріютить трехъ мальчиковъ, изъ которыхъ старшему, т. е. мнѣ было 12 лѣтъ. У нихъ былъ цѣлый свободный этажъ (по-русски третій), куда насъ и помѣстили, приставивъ на уходъ къ намъ одного изъ курьеровъ. Самъ губернаторъ, Василій Степановичъ, видный старикъ съ краснымъ лицомъ, хриплымъ голосомъ и одышкой, съ длинными сѣдыми баками, былъ однимъ изъ представителей высшаго свѣта, отличной фамиліи, принадлежащей по рожденію къ верхамъ русскаго общества. Онъ былъ изъ типа администраторовъ, которыхъ Л. Толстой вывелъ въ лицѣ Стивы Облонскаго. Я не разъ слыхалъ, что онъ имѣлъ въ виду и его. Прасковья Федоровна была родственницей Льва Николаевича; и въ первый разъ въ жизни я встрѣтилъ Л. Толстого именно у Перфильевыхъ. Онъ пришелъ туда въ блузѣ, съ легавой собакой, и меня удивляло, что такъ плохо одѣтый человѣкъ былъ на «ты» съ губернаторомъ. Стива Облонскій къ старости, когда онъ бы уже разжирѣлъ, когда не могъ бы ни охотиться, ни увлекаться, вѣроятно былъ бы такимъ, какъ Перфильевъ. Какъ Стива Облонскій Перфильевъ не хлопоталъ о карьерѣ; по родству и связямъ съ тогдашнимъ правящимъ міромъ, онъ не могъ остаться безъ должности. Мало того, онъ могъ ею и *хорошо* управлять. Потому что, какъ объяснялъ Толстой въ «Аннѣ Карениной», онъ былъ совершенно *равнодушенъ* къ дѣлу, которымъ занимался, и слѣдовательно не могъ бы ни увлечься, ни зарваться, ни надѣлать ошибокъ. А личная его порядочность, воспитанность и дружелюбное отношеніе ко

всѣмъ сдерживали ненужное усердіе его подчиненныхъ. Позднѣе, когда жизнь осложнялась, этихъ качествъ для администратора достаточно уже не было. Перфильевъ и не подошелъ къ этому позднѣйшему времени, когда стало необходимо показывать непреклонность и нетерпимость. (Въ его же время власть была еще настолько неоспоримой силой, что могла не быть ни высокомерной, ни жестокой. Въ то доброе старое время для успѣха по службѣ ненужно было создавать себѣ «направленія». Направленіе считалось принадлежностью ranku и оно для Перфильева не было нужно. Все это Толстой отмѣтилъ въ разговорѣ Серпуховскаго съ Вронскимъ. Перфильевъ могъ не бояться ни знакомства, ни дружбъ съ людьми, которые были на дурномъ счету въ Петербургѣ, и за эту нетерпимость надъ Петербургомъ смѣялся. Таковъ былъ не одинъ Перфильевъ, но и всѣ наши власти: и знаменитый московскій генераль-губернаторъ, князь В. А. Долгоруковъ и оберъ-полицеймейстеръ А. А. Козловъ и другіе, которыхъ я встрѣчалъ у Перфильевыхъ. Административная машина работала настолько правильно, что въ передѣлкахъ и не нуждалась. Все могло идти какъ шло прежде.

Этотъ тонъ высшаго начальства усваивался и подчиненными. Правителемъ канцеляріи у Перфильева былъ тогда В. К. Истомино, позднѣе управлявшій канцеляріей Великаго Князя Сергѣя Александровича и ставшій опорой реакціонной агрессивной политики. У Перфильева онъ былъ какъ и всѣ обходительнымъ и добрымъ человѣкомъ, который никому не могъ показаться грозой. Поскольку я могъ наблюдать и понимать свои наблюденія, трудъ губернатора тогда не былъ головоломнымъ. Помню по утрамъ многочисленныхъ просителей въ громадномъ пріемномъ залѣ и чиновниковъ въ вицмундирахъ, которые принимали ихъ со строгими лицами. Въ этихъ строгихъ чиновникахъ мнѣ было бы трудно узнать вечернихъ партнеровъ въ карты Перфильева. Иногда меня посылали звать его къ завтраку; я

заставалъ его за бумагами, которыя онъ подписывалъ не читая. На мое любопытство, какъ онъ можетъ такъ дѣлать, онъ объяснялъ едва ли съ полной искренностью, что онъ ихъ всѣ уже раньше прочелъ. Иногда въ окно выходящее на лѣстницу, ведущую къ намъ, въ третій этажъ, я видалъ засѣданія присутствій подъ его предсѣдательствомъ; оживленные споры; говоръ и хохотъ, что мало вязалось съ дѣтскимъ представленіемъ о государственномъ дѣлѣ. Послѣ обѣда, по тогдашнему въ 6 часовъ, у Перфильева былъ только одинъ вопросъ, гдѣ онъ будетъ играть. Безъ картъ по вечерамъ его себѣ представить было нельзя. Онъ либо шелъ черезъ улицу въ англійскій клубъ или игралъ у себя со своими чиновниками. Черезъ нѣсколько лѣтъ Перфильевъ какъ-то бывши на ревизіи неожиданно пріѣхалъ къ намъ въ имѣніе. Несмотря на прекрасную погоду, послѣ ужина былъ поставленъ карточный столъ и изъ кого-то составили партію, хотя въ это время самъ отецъ никогда не игралъ. Безъ картъ Перфильеву нечѣмъ было бы время занять.

А въ молодые годы Перфильевъ, говорятъ, былъ живымъ, веселымъ и остроумнымъ; великолѣпно танцевалъ и, какъ говорили, вообще былъ повѣсой. Его жена рассказывала, что однажды онъ проигралъ дамѣ, за которой ухаживалъ, пари *à discrétion*; она въ насмѣшку потребовала, чтобы онъ съѣлъ сырую мышъ и онъ это сдѣлалъ, но былъ огорченъ тѣмъ, что она послѣ этого изъ безпечливости танцевать съ нимъ не стала. Изъ прежнихъ талантовъ его у него сохранился одинъ: онъ умѣлъ виртуозно расшифровывать шифръ. Стоило вмѣсто буквъ написать ему короткую фразу условными знаками, онъ тотчасъ ее разбиралъ. Когда я въ первый разъ, по совѣту его жены, подалъ ему такую записку, онъ обрадовался, что могъ потряхнуть стариной. Въ нѣсколько минутъ ее разобралъ, несмотря на ошибку, которую онъ тутъ же замѣтилъ. Такъ русская барская жизнь того круга, который тогда правилъ Россіей, формировала

симпатичные типы добрыхъ людей, которые вертѣли колеса налаженной административной машины безъ оживленія и одушевленія, не требуя отъ другихъ низпоклонничества и себя не роняя угодничествомъ. Консервативные по темпераменту эти администраторы не приходили въ озлобленіе ни отъ либеральныхъ людей, ни идей и ихъ не считали опасными. Это были администраторы мирнаго, не боевого времени. Позднѣе, при начавшейся борьбѣ общества съ властью они оказались негодными, ушли сами или ихъ заставили постепенно уйти. Началось иное время, раздѣленіе всего общества на два лагеря и стали почитать тѣхъ, кто умѣлъ и любилъ воевать.

Нѣсколько словъ о женѣ губернатора, Прасковьѣ Федоровнѣ. У нея была сестра Сарра — портретъ которой я видѣлъ у нихъ въ гостиной. Эта сестра была замѣчательной красавицей, любимицей отца и изъ недомолвокъ я догадывался, что она погибла рано какой-то трагической смертью. Сама же Прасковья Федоровна была образованной, свѣтской, воспитанной, но ничѣмъ не замѣчательной и очень некрасивой женщиной. Ей было скучно жить; ни принимать, ни выѣзжать она не любила. Ея досугъ наполняли собачка King-Charles, обезьяна «Уйстити» и вѣчное раскладываніе пасьянсовъ. Мы, чужія дѣти, явились для нея не столько заботой, сколько неожиданнымъ развлеченіемъ. Она усердно каждый вечеръ обучала насъ свѣтскимъ манерамъ. У меня къ этому способностей не оказалось; но братъ Николай, будущій министръ, это любилъ, многому у нея научился и она его за это очень цѣнила. У нея было привычное въ старой высшей аристократіи благожелательное отношеніе къ низшимъ. Представители этого круга были такъ увѣрены въ прочности своего положенія, что низшихъ не боялись и могли позволить себѣ роскошь благожелательства. Жестокое отношеніе къ нимъ могло возмущать, какъ возмущаетъ жестокость къ животнымъ. Таковъ былъ и ея грозный отецъ, Американецъ Толстой. На это она любила указывать. Мо-

людой дѣвушкой она однажды съ нимъ каталась верхомъ; они встрѣтили 80-лѣтняго мужика, съ которымъ ея отецъ разговаривалъ. Она уронила платокъ и сказала старику: «пожалуйста, подымите платокъ». Ея отецъ сказалъ ей: «vous aurez bien pu le faire vous même», и незамѣтно пре-болжно хлестнулъ ее хлыстомъ по рукѣ. Впрочемъ такое уваженіе къ старости вѣроятно не мѣшало «Американцу Толстому» непослушныхъ засѣкать на конюшнѣ.

Такъ въ 80-хъ годахъ намъ еще приходилось видать представителей отошедшей въ вѣчность эпохи дореформенной Россіи. Но они исчезали изъ государственнаго аппарата и изъ общества одновременно съ богатыми усадьбами, особняками, властнымъ поземельнымъ дворянствомъ и скромнымъ «именитымъ купечествомъ». На смѣну имъ шли новые типы, удачливой, предприимчивой, знавшей цѣну себѣ «демократіи», которыхъ звали тогда «разночинцами». Обострялась борьба за существованіе, въ политикѣ возникали «вопросы», о которыхъ не снилось благодушнымъ представителямъ старыхъ патріархальныхъ властей.

Конечно, среди общества были люди, которые понимали, что происходитъ, и мечтали сдвинуть политику въ новую сторону еще тогда, когда «освободительное движеніе» не начиналось. Сравнивая этихъ людей съ позднѣйшей эпохой, я не могу не отмѣтить одной ихъ особенности. Они не только не сводили *всего* къ борьбѣ съ Самодержавіемъ, не считали, что уничтоженіе его есть *предварительное* условіе *всякаго* улучшенія. Они часто *предпочитали* Самодержавіе конституціонному строю.

Въ 80-хъ годахъ людей съ подобными взглядами не-нужно было искать только среди реакціи; ихъ можно было видѣть повсюду, среди разнообразныхъ партій и направле-ній. Я для иллюстраціи приведу два примѣра совершенно различныхъ формацій.

Возьмемъ среду славянофильства. Помню, съ какимъ безусловнымъ осужденіемъ конституціоналисты къ нимъ

относились. Они разоблачали славянофильство съ не меньшей страстностью, съ какой коммунисты долго клеймили социаль-демократовъ. Социаль-демократовъ коммунисты обвиняли за «соглашательство» съ буржуазіей. Славянофиловъ винили тогда за преданность Самодержавію. Но и Самодержавіе относилось къ славянофильству не лучше, чѣмъ конституціоналисты. «Пріятіе» Самодержавія не мѣшало славянофиламъ его политику обличать. Этого Самодержавіе имъ не прощало. Такъ было при Николаѣ I, такъ было и позже. Александръ III при вступленіи на престолъ могъ сказать А. Тютчевой нѣсколько лестныхъ словъ по адресу статей ея мужа И. С. Аксакова; но его *политикъ* онъ не послѣдовалъ. А вдохновителей реакціи славянофильская критика того времени бала больнѣе, чѣмъ конституціонные аргументы; точно такъ, какъ для коммунистовъ обличенія социаль-демократовъ теперь чувствительнѣй, чѣмъ негодование легитимистовъ.

Вспоминая позицію славянофиловъ въ эпоху восьмидесятыхъ годовъ, я не могу признать, чтобы нападки на нихъ были ими заслужены. Стремленіе славянофиловъ *исправить* Самодержавіе могло быть полезно. Сужу такъ потому, что въ мои юные годы мнѣ пришлось близко знать одного незауряднаго славянофила, Павла Дмитриевича Голохвастова.

Онъ былъ нашимъ ближайшимъ сосѣдомъ по имѣнію и мѣстнымъ мировымъ судьей. Былъ сыномъ того Д. П. Голохвастова, близкаго родственника А. И. Герцена, который при Николаѣ I былъ попечителемъ московскаго учебнаго округа и о личности котораго Герценъ въ «Быломъ и Думахъ» сообщилъ много ядовитаго. Голохвастовъ жилъ въ Покровскомъ, одномъ изъ дворянскихъ гнѣздъ Московской губерніи, гдѣ не разъ гостилъ Герценъ. Послѣ смерти П. Д. Голохвастова это имѣніе было куплено С. Т. Морозовымъ. Онъ отремонтировалъ его на современный ладъ, съ проведеніемъ воды, электричества и телефона. Къ слову сказать, тотъ же С. Морозовъ купилъ и полностью уничтожилъ знаменитый домъ

И. С. Аксакова на Спиридоновкѣ съ громаднымъ садомъ, въ которомъ въ самомъ центрѣ Москвы можно было слушать весной оловьевъ. На мѣстѣ этого дома былъ построенъ особнякъ-замокъ Морозова; старый садъ былъ вырубленъ, вычищенъ и превращенъ въ англійскій паркъ. Такъ символически прежнее родовое дворянство уступало мѣсто разбогатѣвшей буржуазіи. Въ деревнѣ Савва Морозовъ былъ менѣе радикаленъ; онъ сохранилъ старый каменный домъ и только пристроилъ къ нему новое зданіе, болѣе современнаго стиля. Во всемъ хозяйствѣ появился порядокъ. Съ крестьянами было произведено размежеваніе, возстановлены настоящія границы владѣній; все окопано канавами и обнесено межевыми столбами; закрыты самовольныя дорожки черезъ барскую землю; проселки вездѣ замѣнились шоссеюной дорогой, на канавахъ и рѣчкахъ поставлены мосты изъ желѣза, болота осушены, сторожки лѣсныхъ сторожей превращены въ каменные дома съ желѣзными крышами; словомъ, вездѣ проступало цивилизующее могущество капитала. Прежній запущенный садъ былъ приведенъ въ образцовый видъ и только въ качествѣ реликвіи сохранена часть стараго каменнаго забора въ одномъ углу этого сада. Съ этого забора, по просьбѣ Ѳ. Родичева, я снялъ фотографію для Общества имени Герцена; заборъ видалъ еще Герцена. Голохвастовы свято чтили память своего отца; у него была извѣстная слабость къ рысистымъ лошадямъ; его гордостью былъ знаменитый «Бычокъ», о которомъ вспоминаетъ и Герценъ. Подлинное стойло «Бычка» съ такой памятной надписью, которую можно сейчасъ увидать на домахъ, гдѣ жили или умерли великіе люди, — сохранялось Голохвастовыми до самой ихъ смерти. На мѣстѣ этой конюшни Морозовъ построилъ другую образцовую, съ послѣднимъ словомъ комфорта, о которомъ въ свое время не снилось «Бычку». П. Д. Голохвастовъ жилъ въ своемъ родовомъ имѣніи вмѣстѣ со своимъ братомъ Д. Д. Голохвастовымъ, предводителемъ и дѣятелемъ эпохи Але-

Александра II, общепризнаннымъ лучшимъ ораторомъ этого времени, сказавшимъ когда-то на московскомъ дворянскомъ собраніи напумѣвшую рѣчь вольнаго, хотя и чисто дворянскаго содержанія, за что былъ по высочайшему повелѣнію лишенъ предводительства и высланъ въ деревню. Объ удивительномъ краснорѣчїи этого человѣка я потомъ слыхалъ отъ Л. Н. Толстого. Въ то время, которое я помню, онъ былъ уже руиной, разбитымъ параличемъ и совершенно глухимъ. Его возили на коляскѣ и съ нимъ разговаривали лишь по запискамъ. Онъ прошелъ мимо моего наблюденія. Зато его брата П. Д. я помню отлично и онъ былъ самъ интересной фигурой.

Широко образованный по понятіямъ того времени, говорившій свободно на четырехъ языкахъ, исколесившій всѣ европейскія страны, по внѣшности и манерамъ онъ представлялъ истинный типъ европейца. Онъ и въ деревнѣ ходилъ не иначе, какъ въ европейскомъ костюмѣ, съ крахмальнымъ воротничкомъ, охотно разговаривалъ на иностранныхъ нарѣчіяхъ, былъ знатокомъ французскихъ винъ и курилъ только дорогія сигары. Со всѣмъ тѣмъ онъ былъ однимъ изъ могиканъ славянофильства. Онъ изъѣздилъ Европу только затѣмъ, чтобы придти къ заключенію, что Россія выше всего. Это предпочтеніе сказывалось во всѣхъ мелочахъ. У него была удивительная память на тексты, и на стихи, и на прозу. Онъ любилъ говорить о превосходствѣ русской литературы, цитировать на память баллады Шиллера, а потомъ ихъ же въ переводѣ Жуковскаго и тонко доказывать, насколько переводъ выше подлинника. Онъ всегда съ радостью отмѣчалъ всякое русское преимущество. Онъ рассказывалъ, какъ ѣздилъ къ Герцену объясняться за несправедливость, которую тотъ допустилъ въ оцѣнкѣ его отца, Д. П. Голохвастова. Онъ увѣрялъ, будто Герценъ это призналъ и передъ нимъ извинился. Но рассказывая объ ихъ разговорѣ, онъ съ особеннымъ удовольствіемъ передавалъ, какъ увлеченный воспоминаніями о Россіи Герценъ ска-

залъ: «вотъ вамъ крестъ» и уже началъ крестное знаменіе, но, поймавъ себя на такомъ несовременномъ жестѣ и выраженіи, улыбнулся, и, протянувъ ему руку, окончилъ: «вотъ вамъ моя рука: если бы я могъ знать навѣрное, что вернувшись въ Россію буду сосланъ въ Сибирь, но смогу пережить время ссылки и вернуться въ Россію живымъ, даю вамъ слово, что тотчасъ бы вернулся». Голохвастовъ много занимался русской исторіей; писалъ рядъ монографій. У него была полемика съ В. О. Ключевскимъ о древне-русскомъ «кормленіи». Голохвастовъ доказывалъ, что терминъ «кормленіе» происходитъ не отъ слова «кормиться»; мысль, будто верховная власть посылала чиновниковъ «кормиться» отъ населенія ему казалась кощунствомъ надъ русскою стариной. Терминъ «кормленіе» онъ выводилъ отъ корня «корма», «кормчій», что значило — управленіе. Власть посылала не «кормиться», а «управлять». Въ полемикѣ съ Голохвастовымъ, Ключевскій былъ очень рѣзокъ по его адресу. Судьба ихъ свела потомъ въ нашемъ домѣ; не знаю, была ли встрѣча пріятна обоимъ, но они скоро разговорились, увлеклись и засторили. Цѣлый вечеръ преширались о значеніи слова «бобыль». Но Голохвастовъ не только занимался исторіей. Однажды онъ чуть не сдѣлалъ большого политическаго дѣла въ Россіи. Я мальчикомъ присутствовалъ при его рассказѣ о несостоявшемся Земскомъ Соборѣ 82 г., который былъ затѣянъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ гр. Игнатьевымъ, за что онъ и долженъ былъ выйти въ отставку. По словамъ Голохвастова, идея Земскаго Собора принадлежала ему. Я былъ тогда слишкомъ малъ, чтобы понять интересъ этого рассказа. Но не разъ его вспоминалъ, когда въ оглашенныхъ въ послѣднее время документахъ сталъ встрѣчать упоминанія о роли П. Голохвастова въ этой попыткѣ.

Возстанавливая въ памяти фигуру этого Голохвастова, я не могу его зачислить въ разряды ретроградовъ. Этотъ взглядъ былъ бы слишкомъ упрощенъ. Въ 82 г. Голохва-

стовъ чуть не устроилъ Земскаго Собора въ Россіи; онъ постоянно негодовалъ на стѣсненія совѣсти, слова и печати; былъ по религіознымъ мотивамъ непримиримымъ противникомъ смертной казни. При добрыхъ личныхъ отношеніяхъ съ правящими сферами, въ частности съ Побѣдоносцевымъ, онъ возмущался ихъ политической линіей, считая, что она губить монархію. Онъ вообще стоялъ за личность и за свободу. Какъ славянофилъ онъ не былъ противникомъ общины, но возмущался той властью, которую государство въ своихъ интересахъ дало сельскому обществу надъ отдѣльными членами, негодовалъ на «проклятую» круговую поруку. Онъ беспощадно клеймилъ крестьянскихъ «ростовщиковъ» и «кабатчиковъ», настаивалъ на лишеніи ихъ всякихъ избирательныхъ правъ, какъ представителей *можетъ* быть необходимаго, но «нечестнаго» занятія, которое можно терпѣть, но не оправдывать; но горячо защищалъ зажиточныхъ крестьянъ, по большевистской терминологіи *кулаковъ*, достигшихъ достатка честнымъ трудомъ; я помню, какъ онъ возмущался уничтоженіемъ мирового суда и какъ горько пенялъ на Александра III, котораго считалъ не волевымъ, не сильнымъ, а только упрямымъ. Припоминаю его отзывъ о реформѣ 89 г., о земскихъ начальникахъ. Его утѣшала только вѣра въ благородство русской души, которую не надо смѣшивать съ модной *âme slave*. Въ Европѣ, говорилъ онъ, земскіе начальники просто возстановили бы крѣпостное право; у насъ они будутъ стараться принести сильную пользу крестьянамъ, но принесутъ только вредъ. Многіе взгляды Полохвастова сблизжали его съ либерализмомъ; но горячо порицая политику Александра III, Полохвастовъ оставался убѣжденнымъ сторонникомъ Самодержавія. Онъ считалъ конституціонный порядокъ гибелью для Россіи и началомъ развращенія общества. Онъ осуждалъ русскихъ либераловъ, самыхъ честныхъ его представителей, въ родѣ Арсеньева, Стасюлевича. «Вѣстникъ Европы», съ его евро-

пейскими взглядами былъ, по его выраженію, только помоями, которыя съ корабля выливаютъ на море. Это—грязь, но грязь лишь наносная, подъ нею чистое народное море, которое этой грязью не замутило.

Когда я былъ студентомъ, мнѣ часто приходилось разговаривать съ Голохвастовымъ; и уже тогда я становился втуникъ передъ вопросомъ, куда его отнести; къ «реакціи» или къ «прогрессу»? Правда, онъ былъ поклонникомъ Самодержавія и это казалось большимъ недостаткомъ; но Самодержавію онъ поклонялся лишь потому, что одно Самодержавіе, по его мнѣнію, было способно служить народу «дѣйствительно» и «безкорыстно». Такой мотивъ съ Голохвастовымъ примирялъ. Къ тому же Голохвастовъ не принималъ Самодержавія *безъ самоуправленія*. Онъ любилъ напоминать, что и *мѣстное самоуправленіе* и *общерусскій Земскій Соборъ* впервые расцвѣли именно при такомъ идеалистѣ Самодержавія, какимъ былъ Иванъ Грозный. Голохвастовъ мистически вѣрилъ, что гласъ народа — гласъ Божій и потому *вѣрилъ* въ Земскій Соборъ. Земскій Соборъ, по его мнѣнію, ошибаться не могъ. Онъ какъ-то прочелъ свое сочиненіе (не знаю было ли оно напечатано) о Соборѣ 1598 года, который избралъ Годунова на царство. Голохвастовъ держался на Годунова отброшенныхъ теперь наукой взглядовъ. Онъ считалъ избраніе недостойнаго Годунова ошибкой; но не могъ допустить, чтобы Земскій Соборъ смогъ ошибиться. И потому онъ пришелъ къ парадоксальному выводу, будто Земскій Соборъ былъ подтасованъ, что его не было вовсе, а что только потомъ по позднѣйшимъ образцамъ отъ имени Собора написали подложную грамоту. Все это Голохвастовъ доказывалъ кропотливымъ изученіемъ текста грамоты и состава Собора. Но признавая, что «гласъ народа — гласъ Божій», Голохвастовъ не считалъ гласомъ народа простое мнѣніе его *большинства*. Въ этой замѣнѣ одного понятія совершенно другимъ, въ раболѣпномъ преклоненіи передъ принципомъ *большинства*, т. е. передъ *цифрой*, онъ

видѣлъ всю зловредную «ложь конституціи». Изъ погони за числомъ голосовъ развивается политическій развратъ нашего времени, необходимость партій, партійной дисциплины, обязательной партійной лжи и т. п. Царь не можетъ идти противъ народа, думалъ Голохвастовъ. Передъ его единодушіемъ онъ всегда преклонится. Отличіемъ Земскаго Собора отъ праламента должно было быть требованіе единогласія; только *оно* для Царя обязательно. Но если единогласія нѣтъ, нѣтъ и голоса народа; есть только отдѣльныя мнѣнія. Изъ нихъ — и это отличіе отъ *liberum veto* — Царь по разуму и совѣсти свободенъ выбирать то, которое считаетъ полезнѣе. Въ этомъ и состоитъ истинное дѣло Царя, быть арбитромъ; *такой* способъ рѣшенія разномыслія разумнѣе, чѣмъ механической подсчетъ голосовъ.

Вотъ чему вѣрилъ Голохвастовъ; пусть это идиллія, надъ которой «умные» люди позднѣе смѣялись. Это не мѣшаетъ тому, что въ критической части славянофильства были вѣрныя мысли. Ихъ идеаль былъ самъ по себѣ бесплоднымъ обличеніемъ нашего полицейскаго Самодержавія, при которомъ въ странѣ не могло образоваться ни общенароднаго голоса, ни даже отдѣльных мнѣній. Ученіе славянофиловъ въ сравненіи съ тѣмъ, что было въ Россіи, вело Россію впередъ, не назадъ. А что касается до ихъ критики конституціоннаго строя, то возстаніе противъ принципа большинства, какъ *ultima ratio* для разрѣшенія спора, противъ замѣны «разума» голосующихъ «партійной дисциплиной» указывало на дѣйствительно слабыя стороны народоприваства. Эти стороны можетъ быть его *неизбѣжное* зло, но все-таки *зло*, котораго нѣтъ смысла скрывать.

Но съ славянофильствомъ можно было не церемониться; съ момента своего возникновенія оно встрѣчало насмѣшки. Наконецъ, оно не было народнымъ движеніемъ, не выходило за предѣлы верхушки интеллигенціи. Среди общественныхъ настроеній оно могло считаться *quantité négligeable*. Но возьмемъ другое теченіе, болѣе популярное въ толцѣ демо-

кратической интеллигенции, вышучивать которое рѣшился только агрессивный юный марксизмъ, это — народничество. А это теченіе при всей ненависти къ режиму, который установился въ Россіи, тоже не видѣло единственнаго спасенія въ *конституціи*. По этому поводу я хочу вспомнить объ одномъ москвичѣ Л. В. Любенковѣ, о которомъ молодое поколѣніе не знаетъ и никогда не узнаетъ. Любенковъ въ «исторію» не перешелъ; онъ болѣзненно боялся всякой рекламы; нельзя было бы представить себѣ его сообщающимъ журналистамъ о томъ, какъ онъ «живетъ и работаетъ»; онъ убѣждалъ бы отъ попытки устроить ему какое-либо публичное юбилейное чествованіе. Лишь, когда онъ былъ разбитъ параличомъ и въ Городской Думѣ былъ поставленъ вопросъ о назначеніи ему пенсіи, его имя и перечень его заслугъ передъ городомъ попали въ печать. Можно было тогда увидѣть и рѣдкое зрѣлище, какъ на исключительномъ уваженіи къ Любенкову сошлись всѣ рѣшительно гласные. Онъ скоро скончался и никто пышныхъ некрологовъ ему не посвятилъ. Но москвичи, особенно судьи, его не забудутъ. Если можно дѣлить всѣхъ людей на честолюбцевъ (спортсменовъ) и праведниковъ, Любенковъ былъ праведникомъ общественной дѣятельности. Самъ онъ оставался въ тѣни, выдвигалъ впередъ молодыхъ, уклонялся отъ отвѣтственныхъ должностей, но по моральному авторитету былъ вождемъ и учителемъ. При немъ становилось стыдно «мелкихъ помысловъ и мелкихъ страстей». Наблюдая его, я понималъ вліяніе тѣхъ людей, кого народная память называла «святыми».

Любенковъ былъ состоятельнымъ тульскимъ псмѣщикомъ Богородицкаго уѣзда, гласнымъ Губернскаго Земства и безсмѣннымъ Мировымъ Судьей Пречистенскаго участка въ Москвѣ. На службѣ земству и мировому суду прошла вся его долгая жизнь. Въ Гранатномъ переулкѣ у него былъ маленькій домикъ, съ большимъ садомъ, смежнымъ съ садомъ Саввы Морозова по Спиридоновкѣ. Садъ давалъ ему иллюзію жизни въ деревнѣ. Это было только послѣдова-

тельно, такъ какъ въ немъ самомъ не было ничего городскаго. Когда часовъ въ 5 онъ пѣшкомъ возвращался изъ камеры, онъ снималъ европейскій костюмъ, облакаясь въ поддевку, изъ которой уже не вытѣзалъ. Онъ никогда не вытѣжалъ, но его домъ былъ всегда полонъ народомъ. Къ обѣду приходили незваные; всѣ проходили черезъ кухню, съ чернаго хода. Если раздавался звонокъ съ параднаго подъѣзда, въ домъ поднимался переполохъ; это значило — *чужіе*, непривычные гости. Тогда бѣжали зажигать лампы въ передней. Старики уходили встрѣчать гостей, наглухо запирали двери туда, гдѣ оставалась одна молодежь, и возвращались потомъ съ облегченнымъ вздохомъ: бѣда миновала.

Этотъ непритязательный, скромный старикъ былъ иллюстраціей поговорки, что человекъ краситъ мѣсто. Тамъ, гдѣ онъ былъ и работалъ, онъ становился немедленно авторитетомъ и центромъ. Въ земствѣ онъ былъ председателемъ редакціонной комиссіи; и эта комиссія стала инстанціей, которая направляла всю земскую жизнь. Въ Москвѣ онъ по средамъ сидѣлъ въ составѣ Мирового Судейскаго Съѣзда; и въ этотъ составъ Съѣзда тотчасъ ради него стали направляться всѣ *сложнѣйшія* съѣздовые дѣла. Въ Любенковѣ цѣнили не только тонкій юридическій умъ, но и исключительную независимость совѣсти; его нельзя было бы поймать ни на какую уловку. Онъ сталъ идеаломъ мирового судьи; своимъ обаяніемъ создалъ школу и былъ непреерекаемымъ авторитетомъ въ спорныхъ вопросахъ.

Отношеніе Любенкова къ людямъ было интересно сравнить съ Голохвастовскимъ. Тотъ образованный европеецъ тоже предпочиталъ всему русскаго человека; но даже мнѣ, мальчику, было понятно, что это потому, что въ русскомъ человекѣ онъ видитъ *свой* идеалъ, *свое* сочиненіе. Любенковъ же любилъ свой народъ, какимъ онъ дѣйствительно былъ; онъ его не идеализировалъ, но зато и неспособенъ былъ бы его разлюбить за его недостатки. У него, какъ у мирового судьи, было обширное поле для наблюденія, и онъ

былъ мастеромъ наблюдать и рассказывать. Эти рассказы всегда дышали непоколебимымъ доброжелательствомъ къ русскому человѣку во всѣхъ его проявленіяхъ. Онъ умѣлъ отыскивать залогъ хорошаго въ самомъ дурномъ, а законную досаду смягчать добродушной усмѣшкой. Онъ одинаково беззлобно подтрунивалъ и надъ безтолковостью некультурныхъ людей и надъ горделивой претензіей самодовольнаго «барина». Онъ понималъ, что нравы сильнѣе законовъ, что надо себя долго воспитывать, чтобы отдѣлаться отъ *старыхъ* привычекъ. Несмотря на встряску шестидесятыхъ годовъ, въ людяхъ еще сохранялись прежніе слѣды и «рабства» и «барства»; они то и дѣло вытѣзали наружу въ причудливыхъ формахъ. Къ этимъ чертамъ Любенковъ относился безъ озлобленія, такъ какъ онѣ были естественны, но и безъ снисхожденія; *онъ* мѣшали Россіи двигаться дальше. Постепенно побѣдить эти пережитки въ себѣ и другихъ казалось ему главной задачей. Этому онъ достигъ въ *своемъ домѣ*; въ немъ установилась особая атмосфера, которую рѣдко гдѣ можно было встрѣтить.

Любенкова коробило все *показное*; коробилъ и *показной* демократизмъ. Онъ счелъ бы проявленіемъ «барства» демонстративную подачу министромъ руки швейцару, въ чемъ въ первые дни революціи видѣли символъ прогресса. Но Любенковъ былъ тѣмъ *естественнымъ* демократомъ, который не могъ ни въ чемъ ни проявить «сословнаго» предразсудка, ни задѣть чужого достоинства. Въ его домѣ всѣ были равны. Прислуга чувствовала себя домочадцами; по привычкѣ говорила «ты» молодымъ господамъ, а подругъ дочери безразлично величала «красавицами». Никого въ домѣ не шокировало и не удивляло, когда прислуга принимала участіе въ разговорѣ господъ.

Любопытно было отношеніе Любенкова къ молодому поколѣнію. У него было два сына и дочь, и домъ былъ всегда полонъ ихъ друзьями и гостями. У стариковъ былъ культъ молодежи; не тотъ лицемѣрный и льстивый культъ, кото-

рый можно наблюдать въ Совѣтской Россіи, гдѣ молодежь сознательно развращаютъ, чтобы имѣть ее на своей сторонѣ. Любенковъ былъ убѣжденъ, что молодое поколѣніе и лучше и умнѣе, чѣмъ онъ, что надо только ему не мѣшать, не стараться передѣлывать его на свой образецъ. Онъ по-стариковски сразу начиналъ говорить всѣмъ намъ «ты», но никогда ничѣмъ не старался намъ импонировать. Когда между нами происходили споры, онъ подходилъ незамѣтно изъ-за двери послушать, но въ споръ не вступалъ. Изрѣдка съ извиненіями, что онъ, старикъ, себѣ позволилъ вмѣшаться, говорилъ свое мнѣніе и поскорѣе уходилъ, повторяя: «гдѣ мнѣ съ вами спорить!» Сверстники Любенкова говорили, что онъ былъ превосходнымъ ораторомъ; намъ этого таланта видѣть не приходилось; съ нами онъ только разговаривалъ, при этомъ какъ бы всегда извиняясь предъ нами своей добродушной улыбкой. Только случайно онъ какъ будто забудется, голосъ его станетъ строгимъ, отрывистымъ, даже властнымъ, и мы видѣли, какъ онъ могъ и спорить и бороться, когда спорить хотѣлъ.

Старикъ Любенковъ, его дѣти, ихъ близкіе друзья и товарищи были по направленію тѣмъ, что въ широкомъ смыслѣ называлось «народничествомъ». Цѣлью ихъ жизни было *служить народу*. Одинъ его сынъ былъ, какъ и отецъ, мировымъ судьей, другой земскимъ врачомъ; дочь была фельдшерницей и вышла замужъ за земскаго доктора. Раньше у нихъ былъ большой кружокъ сверстниковъ, который поставилъ задачей: *встать* идти на земскую службу, заполнить цѣлый уѣздъ на разныхъ постахъ — медиками, учителями, агрономами и т. д. Они такъ и сдѣлали; захватили почти цѣликомъ въ свои руки Богородицкій уѣздъ Тульской губерніи. Другіе въ другихъ губерніяхъ и уѣздахъ, но дѣлали одно и то-же дѣло: служили народу по земству. Эта служба казалась имъ самой полезной и самой главной; все остальное въ свое время придетъ.

Любенковы сошли со сцены и кружокъ ихъ распался

еще до «освободительнаго движенія». Трудно предвидѣть, какъ бы этотъ кружокъ отнесся къ увлеченіямъ того времени. Но въ то время, когда я его помню, лозунгъ «долой самодержавіе», его не захватилъ бы; онъ нашель бы этотъ лозунгъ слишкомъ упрощеннымъ, книжнымъ, *не народнымъ*, словомъ, «барскимъ» и «интеллигентскимъ». Въ этомъ отношеніи кружокъ Любенковыхъ былъ не моего поколѣнія.

Самъ старикъ помнилъ шестидесятые годы и сохранилъ культъ къ Александру II. Въ Тулѣ ставили памятникъ этому государю, и Любенковъ былъ приглашенъ на торжество. Уклониться онъ не хотѣлъ, но рассчитывалъ остаться въ тѣни. Этого ему не удалось, Губернаторъ Зиновьевъ его спровоцировалъ. Оффиціальную рѣчь свою онъ неожиданно кончилъ словами: «а о томъ, что сдѣлалъ Александръ II, пусть вамъ расскажетъ тотъ, кто лучше всѣхъ это сможетъ: Левъ Владиміровичъ Любенковъ». Отказаться было нельзя и Любенковъ заговорилъ. Эту рѣчь онъ намъ передавалъ; другіе рассказали о произведенномъ ею впечатлѣніи. Выходя на трибуну Любенковъ не зналъ, что онъ скажетъ. Но памятникъ Александру II, воздвигнутый въ эпоху реакціи, его воодушевилъ. Какъ онъ говорилъ, что-то сдавило ему горло и онъ началъ сразу повышеннымъ тономъ, указывая на бюстъ Александра II: «Великая тѣнь великаго прошлаго встала передъ нами — смотрите!» Послѣдовала вдохновенная импровизація, которая вышла цѣльной потому, что всѣ ея мысли были давно глубоко продуманы. Этому прошло столько времени, что въ памяти моей сохранился только общій планъ рѣчи и отдѣльныя фразы. Любенковъ превозносилъ Александра II за то, что онъ обновилъ русскую жизнь «идеями» *свободы и самоуправления*. Онъ противопоставлялъ «идеямъ» то, что изъ нихъ «на практикѣ» получилось. Александръ II былъ изображенъ, какъ настоящій идеалистъ, ученикъ идеалиста Жуковскаго. Любенковъ картинно изображалъ его реформаторскую дѣятельность. «Онъ далъ народу свободу», говорилъ Любенковъ. — «Но какъ

же управлять имъ, Ваше Величество»? съ удивленіемъ спрашивали его приближенные. И Александръ отвѣчалъ: «пусть управляется самъ» и создалъ сельское и волостное самоуправленіе, волостные суды. Потомъ по тому же образцу уже для *всѣхъ* создалъ безсословное земство, университетскую автономію, судебную независимость. Наконецъ, онъ понесъ свободу и за границу; освободилъ славянъ на Балканахъ. И на прежній вопросъ, *какъ* ими управлять, сказалъ тѣ-же слова: «пусть управляются сами», и далъ имъ конституцію. Любенковъ кончалъ выводомъ: «все, что было великаго въ шестидесятыхъ годахъ, *всѣ* великія *идеи* были провозглашены имъ, Александромъ II; а въ томъ, что изъ этого вышло, виноваты только *мы сами*». Пусть этой юбилейною рѣчью Александръ II былъ поставленъ на высоту имъ незаслуженную. *Но величіе идей* шестидесятыхъ годовъ и *идейный упадокъ* позднѣйшей политики были имъ изображены такъ убѣдительно, что самъ губернаторъ со слезами въ голосѣ повторялъ заключительныя слова: «да, мы, мы виноваты».

Такого культа Александра II *молодое* поколѣніе, собиравшееся у Любенковыхъ, уже не знало. Но отъ мысли, что просвѣщенный абсолютизмъ не сказалъ своего послѣдняго слова, оно не отказывалось. Конечно самоуправленіе оставалось его *главной* вѣрой. Сельскій сходъ, крестьянская община, которая еще не потеряла своего обаянія, въ представленіи людей этого настроенія были *неприкосновенны*; слѣдующимъ этапомъ, который народу надлежало *пройти*, было всесословное земство. Сфера мѣстныхъ непосредственныхъ интересовъ была народу доступна и въ ней онъ *могъ* быть хозяиномъ. Но зато сразу сдѣлать народъ вершителемъ судебъ *всего* государства, значило оказать народу плохую услугу, отдать его въ руки демагогіи; Самодержавіе еще должно было на общее благо спланивать самоуправляющійся народный міръ въ государство, не дѣля своей верховной

власти съ «барскимъ» Парламентомъ. Эти «демократическія» настроенія, которыя не были *враждебны* Самодержавію, въ кружкѣ Любенковыхъ сохранялись долго. Помню споры послѣ злополучной рѣчи Николая II о «безсмысленныхъ мечтаніяхъ». Ею всѣ возмущались; возмущались и тѣмъ, что молодой Императоръ сказалъ это старымъ людямъ, которые пріѣхали для поздравленія. Но сынъ Любенкова, убѣжденный народникъ, земскій врачъ Владиміръ Львовичъ выступилъ съ другой точкой зрѣнія. Онъ прочелъ докладъ, около котораго и завязались страстныя пренія. «Если дѣло въ невѣжливой фразѣ, говорилъ Владиміръ Львовичъ, этой «шаркунской» оцѣнки оспаривать я не буду. Я просто съ ней не считаюсь. Когда рѣчь идетъ о такомъ гигантскомъ принципѣ, какъ Самодержавіе, разсматривать его съ точки зрѣнія «свѣтскихъ манеръ» смѣшно». Но споръ по существу за Самодержавіе Любенковъ готовъ былъ принять. И такой споръ могъ происходить въ 95 г., и защиту Самодержавія могъ брать на себя человекъ такой исключительной искренности, какимъ былъ молодой Любенковъ! Еще удивительнѣй, что въ данномъ вопросѣ старикъ Любенковъ поддерживалъ позицію сына. Черезъ 40 лѣтъ я не помню всѣхъ доводовъ этого мнѣнія, но основной тенденціи ихъ не забылъ. Тогдашняго полицейскаго Самодержавія, конечно, никто не защищалъ; но, чтобы задачей было не исправленіе Самодержавія, а введеніе «конституціи», съ этимъ Любенковы не соглашались. Конституціонная практика Запада въ восторгъ ихъ не приводила; они указывали въ ней тѣ же недостатки, что и славянофилы. Въ неподготовленной, некультурной Россіи государственное самоуправленіе, по ихъ мнѣнію, было бы самообманомъ. Они предсказывали при конституціи образованіе класса профессиональныхъ политиковъ, у котораго заботы о благѣ народа переродятся въ тактику «уловленія» голосовъ; всеобщее избирательное право превратится въ поддѣлку подъ народную волю; разумъ и «совѣсть» народныхъ представителей смѣ-

нятся подчиненіемъ новымъ деспотамъ-партіямъ, ихъ случайному большинству и безотвѣтственнымъ руководителямъ и т. д.

Вотъ какія мысли еще имѣли право гражданства въ 90-хъ годахъ. Не говорю о тѣхъ теченіяхъ мысли, которыя, предваряя современную моду, уже тогда смѣялись надъ «парламентскимъ кретинизмомъ», и «либерализмомъ» и предпочитали имъ якобинскія диктатуры, что сближало ихъ противъ ихъ воли и съ фашизмомъ и съ Самодержавіемъ. Могу сдѣлать одинъ общій выводъ; въ 90-хъ годахъ «конституція» панацеей еще не считалась; Самодержавіе не было для всѣхъ *общимъ и главнымъ врагомъ*, какъ это сдѣлалось позже.

Если позже оставались еще сторонники Самодержавія, то его «идеалисты» уже исчезали. За Самодержавіе стояли тогда или пассивные поклонники всякаго факта, или представители привилегированныхъ классовъ, которые понимали, что Самодержавіе ихъ охраняетъ. Эта перемѣна настроенія произошла на нашей памяти и на нашихъ глазахъ.

Глава III.

СТУДЕНЧЕСТВО МОЕГО ВРЕМЕНИ.

Настоящая глава писана не для этой книги и потому требуетъ извиненія. Въ 1930 году я написалъ свои «студенческія воспоминанія» для сборника въ память 175-лѣтія Московскаго Университета. Они оказались слишкомъ длинны для сборника; изъ нихъ были помѣщены только отрывки о Герье, Ключевскомъ и Виноградовѣ. Но я пользуюсь уже написаннымъ для настоящей книги. Читатели извинятъ, что у меня не хватило охоты воспоминанія радикально передѣлывать и что они носятъ слишкомъ личный характеръ. Но эпоха моего студенчества настолько

характерна, что интересъ они могутъ представить.

Студенты моего поколѣнія даже внѣшнимъ образомъ принадлежали къ *переходной* эпохѣ. Мы поступили въ Университетъ послѣ Устава 84 года и носили форму; старшій курсъ ходилъ еще въ штатскомъ. Такъ смѣшались и различались по платью питомцы эпохи «реформъ» и питомцы «реакціи».

Уставъ 84 года былъ первымъ *органическимъ* актомъ *новаго* царствованія. Его Катковъ привѣтствовалъ извѣстной статьей: «Встаньте, господа! Правительство идетъ, правительство возвращается». Онъ предсказывалъ, что университетская реформа только начало и указываетъ направленіе «новаго курса». Онъ не ошибся. Реформа Университета имѣла цѣлью воспитывать новыхъ людей. Она сразу привела къ «достиженіямъ»; ихъ усмотрѣли въ посѣщеніи Московскаго Университета Александромъ III въ маѣ 86 г.

Конечно, для успѣха этого посѣщенія были приняты и полицейскія мѣры; но ими однѣми объяснить всего невозможно. Даже предвзятые люди не могли не признать, что молодежь вела себя не такъ, какъ полагалось ей по ея репутации. При пріѣздѣ Государя она обнаружила настроеніе, которое до тѣхъ поръ бывало только въ привилегированныхъ заведеніяхъ. Такой восторженный пріемъ Государя не былъ возможенъ ни раньше, ни позже. Онъ произвелъ впечатлѣніе. Московскіе обыватели обрадовались, что «бунтовщики» такъ встрѣтили своего Государя. Катковъ ликовавъ. Помню его передовицу: «Все въ Россіи томилось въ ожиданіи правительства. Оно возвратилось... И вотъ на своемъ мѣстѣ оказалась и наша молодежь...». Онъ описывалъ посѣщеніе Государя: «Радостные клики студентовъ знаменательно сливались съ кликами собравшагося около университета народа». И онъ заключалъ, что Россія вышла наконецъ изъ эпохи волненій и смуть.

Легкомысленно дѣлать выводы изъ криковъ толпы; мы ихъ наслушались и въ 917 г., и теперь въ совѣтской Россіи.

Еще легкомысленнѣй было бы думать, что одного Устава могло быть достаточно, чтобы студенчество переродилось въ два года. Но не умнѣе вообразать, что пріемъ былъ «подстроенъ» и что въ немъ приняли участіе только «подобранные» элементы студенчества. Онъ былъ новъ и знаменателенъ, и это надо признать.

Воспитаніе новаго человѣка началось собственно много раньше, еще съ «Толстовской гимназіи». Дѣло не въ классицизмѣ, который могъ самъ по себѣ быть благотворенъ, а въ стараніи гимназій создавать соответствующихъ «видамъ правительства» благонадежныхъ людей. Какъ жестока была эта система, можно судить по тому, что ея результаты оказывались тѣмъ печальнѣе, чѣмъ гимназія была лучше поставлена; ея главными жертвами были всегда преуспѣвшіе, *первые ученики*. Они потомъ меньше лѣнтяевъ оказывались приспособлены къ жизни. Но не гимназія и не Уставъ 84 года переродили студенческую массу къ 86 году; это сдѣлало настроеніе самого общества, которое къ этому времени опредѣлилось и которое студенчество на себѣ отражало.

Уставъ 84 года не могъ продолжать дѣло Толстовской гимназіи. Только старшіе студенты ощущали потерю нѣкоторыхъ прежнихъ студенческихъ вольностей и этимъ могли быть недовольны. Для вновь поступающихъ Университетъ и при новомъ Уставѣ въ сравненіи съ гимназіей былъ мѣстомъ такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свѣжемъ воздухѣ. Насъ не обижало, какъ старшихъ, ни ношеніе формы, ни присутствіе педелей и инспекціи. Уставъ 84 года больнѣе ударилъ по профессорамъ, чѣмъ по студентамъ. Его основная идея относительно насъ, т.-е. попытка объявить студентовъ «отдѣльными посѣтителями университета» и запретить имъ «всякія дѣйствія, носящія характеръ корпоративный», никогда полностью проведена быть не могла.

Припоминаю характерный случай. Когда я былъ еще гимназистомъ, я отъ старшихъ слыхалъ много нападокъ на

новый Университетскій Уставъ и его негодность была для меня аксіомой. Послѣ Брызгаловскихъ безпорядковъ, гдѣ въ числѣ студенческихъ требованій стояло «долой новый уставъ», я какъ то былъ у моихъ товарищей по гимназіи Чичаговыхъ, сыновей архитектора, выстроившаго Городскую Думу въ Москвѣ. Разговоръ зашелъ о требованіи «отмѣны Устава». Безъ всякой ироніи, далекой отъ академической жизни, архитекторъ Д. Н. Чичаговъ насъ спросилъ: «Что собственно Вамъ въ новомъ Уставѣ не нравится»? Въ отвѣтъ мы ничего серьезнаго сказать не могли. *Мы не знали.* Намъ, новымъ студентамъ, Уставъ ни въ чемъ не мѣшалъ; мы стали говорить о запрещеніи библіотекъ, землячества, о несправедливостяхъ въ распредѣленіи стипендій. Д. Н. Чичаговъ слушалъ внимательно, видимо стараясь понять, и спросилъ въ недоумѣніи: «но вѣдь все это можно исправить, не отмѣняя Устава»? Позднѣе я зналъ, что было бы нужно противъ Устава сказать. А еще позднѣе я понялъ, что въ совѣтъ архитектора Д. Н. Чичагова исправлять недостатки, не разрушая самого зданія, было то правило государственной мудрости, котораго не хватало не только моему поколѣнію.

Время студенчества (87—94) лично мнѣ дало очень много. Гимназистомъ я жилъ въ средѣ людей достигшихъ замѣтнаго и твердаго положенія въ обществѣ. Въ ней одной я не могъ бы увидѣть всего, что переживать въ молодые годы полезно. Къ счастью, моя студенческая жизнь подпала подъ другія вліянія. Я былъ въ возрастѣ, когда ничего не потеряно и жизнь можетъ опредѣляться случайностью. Она и произошла со мной въ ноябрѣ 87 года, т.-е. черезъ два мѣсяца послѣ моего поступленія въ Университетъ.

22-го ноября 87 года я былъ на очередномъ концертѣ студенческаго Оркестра и Хора. Оркестръ былъ привилегированнымъ студенческимъ учрежденіемъ; его концертъ былъ внѣшней причиной посѣщенія Государя. Я сидѣлъ въ боковыхъ залахъ Собранія, когда мимо прошелъ инспекторъ

Брызгаловъ. Я зналъ, что студенчеству онъ ненавистенъ, но съ нимъ лично не сталкивался. Едва онъ прошелъ, какъ изъ сосѣдней залы послышался трескъ и всѣ туда бросились. Студентъ Синявскій только что далъ Брызгалову пощечину. Этого я не видѣлъ своими глазами. Возможно, что зрѣлище насилія меня возмутило бы. Но когда я подбѣжалъ, Брызгалова уже не было, за то два педеля держали за руки блѣднаго, незнакомаго мнѣ студента. Его потащили къ выходу. Толпа студентовъ росла, пока его уводили. Я узналъ, что случилось, и это было для меня откровеніемъ. Въ моихъ глазахъ живо стояло лицо арестованнаго. Я понималъ, что его ожидаетъ. Въ первый разъ я видѣлъ передъ собой человека, который добровольно всей своей будущей жизнью за что-то пожертвовалъ. Это одно изъ впечатлѣній, которыя въ молодости не проходятъ безслѣдно.

Не я одинъ это чувствовалъ. Никто не зналъ, что надо дѣлать, но университетская традиція помогала. 24 ноября на дворѣ Стараго Зданія собралась толпа, человекъ 200 или 300 и стала кричать: «ректора». Это было тѣмъ, что именовалось «сходкой». Немедленно толпа затрудила Моховую и сквозь рѣшетку смотрѣла какъ «бунтуютъ» студенты. Сходка была сама по себѣ явленіемъ не опаснымъ; но власти съ ней не шутили. Черезъ нѣсколько минутъ прибыли конныя войска съ Тверской и Никитской и Университетъ со всѣхъ сторонъ оцѣпили. «Бунтъ» былъ оформленъ. Приѣхалъ попечитель, уговаривалъ разойтись; его освистали. Сходку пригласили въ актовъ залъ; вышелъ ректоръ, студентъ Гофштеттеръ изложилъ ему различныя требованія, начиная съ освобожденія Синявскаго и отставки Брызгалова и кончая отмѣной Устава. «Винныхъ» переписали, отобрали билеты и запретили входъ въ Университетъ до окончанія надъ ними суда. Участниковъ сходки было такъ мало, что занятія въ университетѣ послѣ этого продолжались и только городовые, которые у входа провѣряли билеты, напоминали, что въ университетѣ былъ только что

бунтъ. Но безпорядки питають сами себя. Сочувствіе къ участникамъ сходки помогало расширенію неудовольствія. Тѣ, кому запретили входъ въ университетскія зданія, стали собираться на улицахъ. Въ четвергъ 26 ноября состоялась большая сходка на Страстномъ Бульварѣ. Ее разогнали силой, кое-кто пострадалъ; разнесся слухъ, будто оказались *убитые*. Тогда негодованіе охватило рѣшительно всѣхъ. Тщетно сконфуженная власть эти слухи опровергала; напрасно тѣ, кого считали убитыми, оказывались на провѣркѣ въ добромъ здоровьи. Никто не вѣрилъ опроверженіямъ и они только больше насъ возмущали. Помню резоны П. Д. Голохвастова, который меня успокаивалъ: «вы не могли убитыхъ назвать и за это на власть негодуете. Не можетъ же она убить кого-либо для Вашего удовольствія?» Эта шутка казалась кощунствомъ. Въ Университетѣ не могло состояться ни одной уже лекціи. Попечитель туда показавшійся въ субботу былъ снова освистанъ. Университетъ пришлось закрыть, чтобы дать страстямъ успокоиться. За Московскимъ университетомъ аналогичныя движенія произошли и въ другихъ и скоро пять русскихъ университетовъ оказались закрытыми.

Это пустое событіе произвело громадное впечатлѣніе на общественное мнѣніе. Либеральная общественность ликовала: Университетъ за себя постоялъ. «Позоръ» царскаго посѣщенія былъ теперь смытъ. Катковъ, который къ осени 87 г. уже умеръ, былъ посрамленъ въ своей преждевременной радости. Молодежь оказалась такой, какой бывала и раньше. Конечно, въ газетахъ нельзя было писать о безпорядкахъ ни единого слова, но стоустая молва этотъ пробѣлъ пополнила. Студенты чувствовали себя героями. На ближайшей Татьянѣ въ Стрѣльнѣ и въ Ярѣ насъ осыпали хвалами ораторы, которыхъ мы по традиціи Татьянина дня выволакивали изъ кабинетовъ для произнесенія рѣчи. С. А. Муромцевъ, какъ всегда величавый и важный, намъ говорилъ, что студенческое поведеніе даетъ надежду на то, что

у насъ создастся то, чего къ несчастью еще нѣтъ — русское общество. Безъ намековъ, ставя точки на і, насъ восхвалялъ В. А. Гольцевъ: Татьянаинъ день по традиціи былъ днемъ безцензурнымъ и за то, что тамъ говорилось, ни съ кого не взыскивалось. Но эти похвалы раздавались по нашему адресу не только въ взвинченной атмосферѣ Татьянаина дня. Я не забуду, какъ Г. А. Джаншіевъ мнѣ наединѣ объяснялъ, какой камень мы — молодежь — сняли съ души всѣхъ тѣхъ, кто уже переставалъ вѣрить въ Россію.

А между тѣмъ безпорядки 87 г. должны были бы скорѣе привести къ обратному выводу. Наблюдательному человеку они могли показать, что молодежь не та, что была раньше, что даже та среда, которая оказалась способна на рискъ, откликнулась только на призывъ къ студенческой солидарности, а никакой «политики» не хотѣла и не шла дальше чисто университетскихъ вопросовъ. Вотъ сценка, на которой я присутствовалъ самъ.

На сходкѣ 26 ноября на Страстномъ бульварѣ студенты заполняли бульваръ, сидѣли на скамьяхъ и гуляли ожидая событій. Вдругъ прошелъ слухъ, что на бульварѣ есть «посторонніе» люди, которые хотѣли «вмѣшаться въ дѣло политику». Надо было видѣть впечатлѣніе, которое это извѣстіе произвело на собравшихся. Мы бросились по указанному направленію. На скамьѣ рядомъ со студентами въ формѣ сидѣлъ штатскій въ сѣрой барашковой шапкѣ. «Это Вы хотите вмѣшаться въ наше дѣло *политику*?» Его поразила въ устахъ студенчества такая постановка вопроса. Онъ сталъ объяснять, что надо использовать случай, чтобы высказать нѣкоторыя общія пожеланія. Дальше слушать мы не хотѣли. «Если вы собираетесь это сдѣлать, мы тотчасъ уходимъ; оставайтесь одни». Студенческая толпа поддерживала насъ сочувственными возгласами. Онъ объявилъ, что если мы не хотимъ, то, конечно, онъ этого дѣлать не станетъ. Долго говорить не пришлось. Показались казаки и жандармы и началось избіеніе.

Этотъ эпизодъ характеренъ. Человѣкъ въ сѣрой барашковой шапкѣ не былъ совсѣмъ «постороннимъ»; онъ былъ студентомъ юристомъ 4-го курса. Только онъ былъ *старшаго* поколѣнія. И мы уже не понимали другъ друга. Слово «политика» насъ оттолкнуло. А мы были *большинство* въ это время; отъ насъ зависѣла удача движенія; и «политики» мы не хотѣли. Ея дѣйствительно и не было въ беспорядкахъ этого года. Потому они и сошли для всѣхъ такъ благополучно. Власть опасности въ нихъ не увидѣла и успѣла. Пострадавшій Брызгаловъ былъ смѣщенъ и скоро умеръ. На его мѣсто былъ назначенъ прямой его антиподъ, С. В. Добровъ. Синявскій, отбывъ въ арестантскихъ ротахъ трехлѣтнее наказаніе, вернулся въ Москву. Я съ нимъ познакомился; историческіе герои теряютъ при близкомъ знакомствѣ. Я могу сказать положительно: громадное большинство университетской молодежи того времени на «политику» не реагировало.

Не могу сразу разстаться съ сѣрой барашковой шапкой. Судьба насъ впослѣдствіи сблизила. Но слѣдующая встрѣча была забавна и характерна.

Этой зимой былъ юбилей Ньютона, который праздновался въ соединенномъ засѣданіи нѣсколькихъ ученыхъ обществъ, подъ предсѣдательствомъ профессора В. Я. Цингера. Какъ естественникъ, я пошелъ на засѣданіе. Было много студентовъ. Мы увидали за столомъ Д. И. Менделѣва. Онъ былъ въ это время особенно популяренъ, не какъ великій ученый, а какъ «протестантъ». Тогда рассказывали, будто во время беспорядковъ въ Петербургскомъ университетѣ Менделѣвъ заступился за студентовъ и вызванный къ Министру Народнаго Просвѣщенія, на вопросъ послѣдняго, знаетъ ли онъ, Менделѣвъ, что его ожидаетъ, гордо отвѣтилъ: «знаю; лучшая кафедра въ Европѣ». Не знаю, правда ли это, но намъ это очень понравилось, и Менделѣвъ сталъ нашимъ героемъ. Неожиданно увидѣвъ его въ засѣданіи, мы рѣшили, что этого *такъ оставить* нельзя.

Во время антракта мы заявили Предсѣдателю Цингеру, что если Мендѣлееву не будетъ предложено почетное предсѣдательство, то мы сорвемъ засѣданіе. В. Я. Цингеръ съ сумасшедшими спорить не сталъ. И хотя Менделѣевъ былъ специально приглашенъ на это собраніе, хотя его присутствіе сюрпризомъ не было ни для кого, кромѣ насъ, послѣ возобновленія засѣданія Цингеръ заявилъ торжественнымъ тономъ, что узнавъ, что среди насъ присутствуетъ знаменитый ученый (кто-то изъ насъ закричалъ «и общественный дѣятель») Д. И. Менделѣевъ, онъ проситъ его принять на себя почетное предсѣдательствованіе на остальную часть засѣданія. Мы неистово аплодировали и вопили. Публика неудомѣвала, но не возражала. Мы были довольны. Но на утро, вспоминая происшедшее, я нашелъ, что надо еще что-то сдѣлать. Въ моментъ раздумій я получилъ приглашеніе придти немедленно на квартиру С. П. Невзоровой по неотложному дѣлу.

Два слова объ этой квартирѣ. Старушка С. П. Невзорова, сибирская уроженка, въ очкахъ, со стриженной сѣдой головой, была одной изъ многочисленныхъ хозяекъ квартиръ, гдѣ жили студенты. Это было особой профессіей; для однихъ содержаніе такихъ квартиръ было «коммерціей», для другихъ «служеніемъ обществу». Софья Петровна была тишичной хозяйкой второй категоріи; она жила одной жизнью со своими молодыми жильцами и со всѣми, кто къ нимъ приходилъ. Защитница ихъ и помощница, ничего для нихъ не жалѣвшая, все имъ прощавшая, не знавшая другой семьи, кромѣ той, которая у нея образовалась, она устроила у себя центръ студенческихъ конспирацій. Каждый могъ къ ней привести переночевать нелегальнаго, спрятать запрещенную литературу, устроить подозрительное собраніе и т. д. А въ мирное время къ ней собирались почти каждый вечеръ то тѣ, то другіе. Совмѣстно въ честь хозяйки готовили сибирскія пельмени, пока кто-нибудь читалъ вслухъ новинки литературы (какъ сейчасъ помню выходяв-

шую тогда въ «Вѣстникѣ Европы» щедринскую «Пошехонскую старину»). Потомъ поглощали пельмени, заливая чаемъ или пивомъ, и пѣли студенческія пѣсни. Иногда спорили до потери голоса и хрипоты. Такія квартиры были во всѣ времена. Въ нихъ рассказывалъ Лежневъ въ Тургеневскомъ Рудинѣ. Они не мѣняли характера въ теченіе вѣка. Ибо главное — 20 лѣтъ у участниковъ — оставались всегда. Много воспоминаній связано у меня съ такими квартирами. Они дополнительно воспитывали питомцевъ толстовской гимназіи. Не всѣмъ были по вкусу нравы подобныхъ квартиръ. Когда мой братъ Николай, будущій Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, сталъ студентомъ, я его привелъ къ Софьѣ Петровнѣ. Все тамъ его удивляло и коробило; онъ не прошелъ моей школы. А его вѣжливость и воспитанность поливали холодной водой нашу публику. Болѣе онъ сюда не ходилъ, да я его и не звалъ. Возвращаюсь къ разсказу.

У С. П. Невзоровой я засталъ тогда цѣлое общество. Былъ и ставшій позднѣе извѣстнымъ общественнымъ дѣятелемъ Г. А. Фальборкъ, вѣчно кипящійся, все преувеличивающій, типъ политическаго Хлестакова. Не знаю, *къмѣ* онъ былъ въ это время. Но навѣрное исключеннымъ студентомъ; это было его обычное состояніе. Онъ пришелъ сказать, что пріѣздъ Менделѣева надо использовать, послать къ нему депутацію; увѣрялъ, что съ Менделѣевымъ онъ очень друженъ, что предупредилъ его о депутаціи и что онъ ее ждетъ. Менделѣевъ пробудетъ еще нѣсколько дней, но откладывать нечего. Надо идти. Всѣ немедленно согласились быть въ депутаціи. Никто себя не спросилъ, зачѣмъ и главное *отъ кого* идетъ депутація? Ждали только Гуконскаго. Я слыхалъ это имя, но до тѣхъ поръ его не встрѣчалъ. Когда онъ явился, я неожиданно узналъ въ немъ незнакомца въ сѣрой барашковой шапкѣ.

Мы двинулись въ путь. Фальборкъ довель насъ до «Европы», гдѣ стоялъ Менделѣевъ, но съ нами войти не захотѣлъ. Говорилъ, что ему, какъ близкому другу Менде-

лѣва, въ депутаціи неловко участвовать. Входя по лѣстницѣ, мы рѣшили, что начнемъ съ того, что явились, какъ депутація. Въ разговорѣ станетъ понятно, о чемъ говорить. На стукъ въ дверь кто-то отвѣтилъ: «войдите». За перегородкой передней мы увидали проф. А. Г. Столѣтова и остолбенѣли. Перспектива его встрѣтить намъ въ голову не приходила, а разговоръ *при немъ* не прельщаль. Мы стояли въ передней и переглядывались. Чей-то голосъ нетерпѣливо сказалъ: «Ну что-же, входите». И показалась фигура Менделѣва. Тогда одинъ изъ насъ объявилъ торжественнымъ тономъ: «депутація Московскаго Университета». Менделѣвъ какъ-то стремительно бросился къ намъ, постепенно вытѣснялъ насъ назадъ въ корридоръ, низко кланялся, торопливо жаль всѣмъ намъ руки. Онъ говорилъ «благодарю, очень благодарю, но извините, не могу, никакъ не могу». Когда мы очутились въ корридорѣ, онъ держась рукой за дверь все еще кланялся, повторялъ «благодарю, не могу» и скрылся. Щелкнулъ замокъ. Мы разошлись не безъ конфуза.

Въ этотъ день я пошелъ на засѣданіе Московскаго губернскаго земства. Вспоминая объ утреннемъ посѣщеніи, я рѣшилъ одинъ отправиться опять къ Менделѣву узнать, что означаль такой странный пріемъ. Гостиница была въ двухъ шагахъ. Мнѣ отвѣтили, что Менделѣвъ съ почтовымъ поѣздомъ уѣхаль назадъ въ Петербургъ. Дѣлать было нечего. Но черезъ нѣсколько дней кто-то изъ профессоровъ при мнѣ рассказываль моему отцу, что, заѣхавъ къ Менделѣву въ назначенный часъ, онъ засталъ его на отъѣздѣ. Менделѣвъ объяснилъ, что пріѣхаль на нѣсколько дней отдохнуть и кое-кого увидать, но что здѣсь всѣ рехнулись. Наканунѣ ему приподнесли «сюрпризъ» председательствованія, а на другой день въ одно утро пришло 4 или 5 студенческихъ депутацій. Онъ принялъ одну, не зная въ чемъ дѣло; остальныхъ не сталъ и пускать. Но понявъ, что ему не дадутъ здѣсь покоя, поторопился уѣхать.

Когда мы рассказали про наше посещение Фальборку, онъ не смутился. Онъ далъ намъ тонко понять, будто на Менделѣева было произведено властями давленіе и что его изъ Москвы удалили. Это объясненіе намъ больше понравилось. Я рассказалъ объ этомъ шутовскомъ эпизодѣ потому, что онъ очень типиченъ. На почвѣ дезорганизованности студенческой массы, такъ фабриковали тогда *Депутации*, которыя считали себя въ правѣ говорить отъ имени всѣхъ.

А. И. Гуковскаго я потомъ видалъ очень часто. Годами онъ былъ не много старше меня, но безконечно старше опытомъ и развитіемъ. Въ глазахъ моего поколѣнія онъ и его сверстники казались стариками, которые видали лучшие дни. Мы относились къ нимъ съ уваженіемъ, но ихъ не понимали и за ними не шли. Въ грубой формѣ это сказалось, когда мы грозили уйти со Страстного бульвара. Это всегда ощущалось поздно. Насъ уже раздѣляла какая-то пропасть. Говорю при этомъ только про идейную молодежь нашего времени, не «бѣлоподкладочниковъ». Лично я испытывалъ это съ Гуковскимъ. Я бывалъ у него очень часто: онъ меня просвѣщалъ политически; давалъ мнѣ литературу, но держался отъ меня въ сторонѣ. Я никогда его не спрашивалъ, даже когда увидался съ нимъ здѣсь въ Парижѣ, узналъ ли онъ меня въ числѣ тѣхъ, кто на Страстномъ бульварѣ заставилъ его замолчать. По той или другой причинѣ тогда онъ мнѣ или не вѣрилъ, или меня щадилъ. Скоро онъ былъ арестованъ и посаженъ на три года въ Шлиссельбургскую крѣпость. Несмотря на мою близость съ нимъ, я ни къ чему не оказался примѣшанъ. Про его связь съ активными революціонерами и про его дѣятельность я не зналъ ничего.

Хочу добавить одинъ штрихъ къ фигурѣ А. Гуковскаго. Онъ стоилъ гораздо больше, чѣмъ его оцѣнила судьба. Когда я былъ уже филологомъ и работалъ у проф. Виноградова, я получилъ письмо отъ Гуковскаго. Выпущенный изъ Шлиссельбургской крѣпости, гдѣ въ припадкѣ душевнаго

разстройства онъ выбросился изъ окна и разбился, онъ жилъ гдѣ-то въ провинціи. Въ это время я былъ занятъ однимъ предпріятіемъ, въ которомъ участвовалъ и Виноградовъ. Кружокъ студентовъ затѣялъ издательство. Пользуясь отсутствіемъ конвенціи объ авторскомъ правѣ, мы задумали выпускать переводы политическихъ и историческихъ классиковъ по грошевой цѣнѣ. Всѣ работали даромъ: переводы оплачивались пятью рублями за листъ. Мы могли выпускать книги за четвертакъ. Виноградовъ руководилъ этимъ дѣломъ. Въ числѣ намѣченныхъ переводовъ была книга Токвиля «L'Ancien régime». Но сколько ни представляли Виноградову образчиковъ перевода, онъ ихъ браковалъ. Переводить Токвиля было трудно и было стыдно выпустить *плохой* переводъ такого стилиста, какъ онъ. Получивъ письмо отъ Гуковскаго, который владѣлъ прекрасно перомъ, (онъ сочинялъ всѣ студенческія прокламаціи), я предложилъ ему неудававшійся переводъ. Онъ согласился и скоро прислалъ двѣ главы на просмотръ. Они привели въ восторгъ Виноградова; переводъ былъ не только лучше другихъ, но хорошъ абсолютно. Мы послали ему деньги и ждали дальнѣйшихъ главъ. Неожиданно я получилъ второе письмо отъ Гуковскаго. Переводя Токвиля, онъ нашелъ, что это сочиненіе отсталое и что распространять его вредно; поэтому онъ отъ перевода отказывается и полученные деньги возвращаетъ намъ назадъ. Не помню его аргументовъ. Виноградовъ самъ ему отвѣчалъ, настойчиво доказывая, что сочиненіе Токвиля полезно. Я же отъ себя добавлялъ, что онъ насъ подводитъ и что его трудно сейчасъ замѣнить. Мы получили отъ Гуковскаго характерный отвѣтъ. Онъ подробно объяснилъ, почему доводы Виноградова его не убѣдили; но такъ какъ подводить насъ онъ не хотѣлъ, то переводъ онъ все-таки кончитъ. Но не желая быть прикосновеннымъ къ сомнительному дѣлу, отъ полученія денегъ отказывался.

Участіе въ беспорядкахъ сблизило меня со студенческой массой. Безъ нихъ этого сближенія могло и не быть.

Для москвича поступленіе въ Университетъ не мѣняло всей жизни. Только провинціалы, пріѣзжая въ чужой городъ, держались другъ друга, жили семьей старыхъ и новыхъ товарищей. Они создали кружки, землячества, общесжитія и другіе суррогаты со своими традиціями. Запретъ коллективной жизни загонялъ студентовъ въ подполье, которое оставалось для власти за «предѣлами досягаемости». Безпорядки сблизили меня съ этой средой. Я ей многимъ обязанъ. Кончая гимназію, я казался подготовленнымъ не хуже другихъ. Но студенчество открыло мнѣ области, о которыхъ я не зналъ ничего. На одной вечеринкѣ спросили меня: «считаю ли я Лассалю практикомъ или теоретикомъ?» А я тогда еще *ничего* не слыхалъ о Лассалѣ. Я сталъ подъ руководствомъ старшихъ товарищей изучать, что полагалось знать въ то время передовому студенту. Наука была не хитра. Было достаточно прочесть списокъ *запрещенныхъ* въ библіотекахъ книгъ. Въ этихъ книгахъ было много отсталого. Но противъ яда Толстовской гимназіи это было и полезнымъ противоядіемъ и необходимой школой ума.

Я настолько тѣсно сблизился тогда съ студенческой жизнью, что могу ставить вопросъ: что представляло собой студенчество этихъ годовъ? Характерно, что этотъ вопросъ мы *тогда* ставили сами.

Мы разъ затѣяли даже разрѣшить его научнымъ путемъ. Мы собрались разослать всѣмъ студентамъ вопросникъ: къ какому каждому принадлежитъ мировоззрѣнію, что, по его мнѣнію, сейчасъ нужно дѣлать, какъ онъ относится къ различнымъ популярнымъ людямъ и т. д. «Анкетой», которыми сейчасъ журналы забавляютъ читателей, мы хотѣли опредѣлить фізіономію поколѣнія.

Это показывало, что у насъ было неблагополучно. Люди смотрятся въ зеркало, когда подозрѣваютъ, что у нихъ не все въ порядкѣ. И это мы ощущали. У нашего поколѣнія не было идейныхъ вождей. Не было *втры*; были «знанія» и

«скептицизмъ». Въ юные годы на насъ вымѣщались разочарованія нашихъ отцовъ. Ключевскій имѣлъ привычку говорить въ своей вступительной лекціи: «у всякаго поколѣнія свои идеалы; у меня одни, у Васъ, господа, другіе; но жалко то поколѣніе, у котораго нѣтъ идеала». Слушая его мы себя спрашивали: «не на насъ ли онъ намекаетъ»?

Увлеченія 60-хъ годовъ намъ казались наивны. Мы не увлекались ни «материализмомъ», ни «атеизмомъ», ни «позитивизмомъ». Все это мы переросли — и уже не понимали, что Писаревъ могъ быть властителемъ думъ. Но у насъ не было и противоположныхъ вѣрованій. Мы на все глядѣли глазами скептиковъ. Помню людей, въ которыхъ была какая-то жажда во что-то «повѣрить», и которые предмета вѣры не находили. Такъ бываютъ женщины, которымъ страшно хочется полюбить, но которыя этого не могутъ.

Всего нагляднѣе нашъ скептицизмъ обнаруживался въ «политической» области. 26-го ноября на Страстномъ бульварѣ насъ оттолкнуло самое слово «политика»; въ проектѣ вопросника никому не пришло въ голову спросить о принадлежности къ *партии*.

Мы не принесли съ собой своего «новаго слова»; не пережили политической катастрофы, не были «дѣти страшныхъ лѣтъ Россіи». У насъ не было основаній для того душевнаго перелома, когда молодежь сжигаетъ то, чему поклонялись отцы. Никогда не было такъ мало принципиальной розни между «дѣтьми» и «отцами»; мы бы были рады ихъ слушать. Но что могли намъ дать они съ ихъ психологіей побѣжденныхъ и это сознавшихъ? Ихъ идеалы мы принимали за наши; готовы были имъ слѣдовать. Но что съ ними надо было дѣлать въ условіяхъ тогдашней русской дѣйствительности?

Въ старыхъ революціонерахъ мы готовы были видѣть «героевъ»; возмущались, когда на нихъ нападали. Но въ успѣхъ ихъ дѣятельности больше не вѣрили. Попытки впрочемъ исходящія быть можетъ отъ «провокаторовъ» пе-

ревести насъ въ революціонную вѣру соблазняли отдѣльныхъ людей, но не создали замѣтнаго направленія. Недавній поучительный опытъ не былъ забытъ.

Не удовлетворялъ и классическій «либерализмъ». Мы понимали, что Самодержавіе наше несчастье. Но что надо было дѣлать «конституціоналистамъ» безъ конституціи? Намъ рассказывали о величіи шестидесятыхъ годовъ. Но тогда власть *хотѣла* реформъ; а что дѣлать *теперь*, когда она ихъ уничтожаетъ? Соблазнять насъ рассказами о 60-хъ годахъ было равносильно тому, чтобы сейчасъ въ совѣтской Россіи расписывать, какъ хорошо жилось при конституціи 906 года. Что *намъ* было дѣлать? Старый либерализмъ отвѣта на это не давалъ; но мы и не могли смотрѣть на него съ осужденіемъ, съ которымъ теперешняя молодежь смотритъ на насъ:

«Съ насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ».

Наши отцы ничего не «промотали», какъ мы въ наше время; Они были побѣждены грубою силою. Но *новой* мечты и мысли собой не принесли. То, что было типично для 80-хъ годовъ, т. е. отказъ отъ великихъ «надеждъ», проповѣдь «малыхъ дѣлъ» и «достиженій», приспособленіе къ дѣйствительности не могло *увлечь* молодежь. И она отъ политики отстранялась. Моимъ однокурсникомъ на Естественномъ факультетѣ былъ тогда А. И. Шингаревъ. Кто зналъ его позже, съ трудомъ можетъ повѣрить, что онъ интересовался только наукой—ботаникой; въ безпорядкахъ участія не принималъ и пока былъ студентомъ никакой общественной дѣятельностью не занимался.

А тотъ, у кого билась жилка общественной дѣятельности, искалъ выхода ей въ какой-нибудь *легальной* работѣ. Вѣдь именно этому учили насъ сломленные жизнью наши

отцы. Мы знали стихотвореніе Некрасова Щедрина. Некрасовъ звалъ его вернуться на прежній путь:

«На путь, гдѣ шагу мы не ступимъ
Безъ сдѣлокъ съ совѣстью своею,
Но гдѣ мы снисхожденъе купимъ
Трудомъ у мыслящихъ людей».

Это считалось необходимою. Иначе нельзя. Необходимость уступокъ и компромиссовъ насъ не смущала, точно такъ-же какъ въ былое время революціонеровъ не пугала *опасность*. Такъ поступали и старшіе. Это было время, когда Н. М. Астыревъ пошелъ въ «волостные писаря», зная, на что онъ идетъ. Тотъ-же Астыревъ въ книгѣ своей разсказалъ о громадной пользѣ, которую народу принесъ *Становой Приставъ Бѣльскій*. Самой одіозной реформой 80-хъ годовъ было Положеніе о Земскихъ Начальникахъ. А я помню, какъ М. О. Гершензонъ меня старался увѣрить, что нѣтъ болѣе полезнаго и почетнаго дѣла, какъ быть земскимъ начальникомъ. И въ нихъ дѣйствительно шли не одни «обуздатели», а и идейные люди, А. А. Чернолуцкий, С. Л. Толстой. Конечно, они не преуспѣли, но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что они на это *пошли*, и что никто не клеймилъ этого, какъ измѣну.

Люди болѣе крайніе принимали и рѣшенія болѣе радикальныя. 80-ые годы стали эпохой Толстовства. Если религіозная проповѣдь Л. Толстого большинству была непонятна, то имѣло успѣхъ устройство «колоній». Это была попытка создать ячейку «идеальнаго общества», но опять-таки въ рамкахъ существовавшаго государства. Это мы принимали. Все это были явленія эпохи упадка, блужданія, индивидуальныя попытки найти хотя бы для себя дорогу въ пустынь, въ которой всѣ заблудились. Но сознаніе, что мы «въ пустынь», насъ не покидало. Оно было всеобщимъ. Мы не догадывались, что эта эпоха упадка доживаетъ послѣдніе дни и что скоро придетъ и вѣра, и дѣятельность.

Эти настроенія отражались въ студенческой жизни этого времени.

Беспорядки 87 года кончились нашей побѣдой, потому что мы хотѣли немногого. Брызгалова удалили и для умиротворенія этого уже оказалось достаточно. Синявскаго не помиловали; но о немъ скоро забыли. Требованіе: «долой новый уставъ» было фразой, которую въ серьезъ не принимали. Еще до возобновленія занятій я говорилъ объ этомъ съ Ключевскимъ. Разсчитывая, что его слова дойдутъ до другихъ, онъ мнѣ доказывалъ, почему нельзя требовать этого. Уставъ 84 года сочинялся многіе годы; его нельзя просто взять да отмѣнить; надо будетъ его пересматривать, а покуда это будетъ сдѣлано насъ давно въ университетѣ не будетъ. Ключевскій притворялся серьезнымъ. Но онъ не предвидѣлъ, что въ августѣ 905 года по совѣту Д. Ф. Трепова именно такъ будетъ поступлено съ уставомъ 84 года.

Когда черезъ 1½ мѣсяца Университетъ былъ снова открытъ уже безъ Брызгалова, студенты могли убѣдиться, что не только въ рамкахъ существовавшаго строя, но даже въ рамкахъ Устава 84 года жизнь фактически могла измѣниться. Студенты продолжали считаться «отдѣльными посылителями университета», всякая корпоративная дѣятельность попрежнему имъ запрещалась. Но на дѣлѣ все пошло по иному.

Беспорядки намъ показали, какъ студенчество плохо организовано, и какъ только гнетъ надъ нимъ былъ ослабленъ начался естественный процессъ организациі. Сверху ему не мѣшали. Землячествъ не разрѣшили, но на нихъ смотрѣли сквозь пальцы и они расцвѣли. Создалось даже ихъ объединеніе: Центральная Касса. Позднѣе, когда она стала именоваться «Союзнымъ Совѣтомъ», она измѣнила характеръ и сыграла въ жизни Университета замѣтную роль руководителя. Основалось землячество «Москвичей». Въ немъ *прежде* надобности не ощущалось. Но на землячество мы уже стали смотрѣть не съ точки зрѣнія «самопомо-

щи», а какъ на обязательный способъ организаціи всего студенчества въ цѣломъ. Въ качествѣ такового оно стало нужно. Съ нѣсколькими товарищами мы его создали. Помню, какъ многіе все-таки идти въ него «сомнѣвались».

Но земляческая среда для объединенія была слишкомъ громоздка. Къ ней присоединили другую; на старшихъ курсахъ медицинскаго факультета существовалъ институтъ курсовыхъ старостъ для распредѣленія студентовъ на группы при практическихъ занятіяхъ въ клиникахъ. Этотъ институтъ мы рѣшили распространить повсемѣстно. Курсовые старосты выбирали изъ себя факультетскихъ; изъ нихъ составился нѣкій центральный органъ изъ 4 человекъ. Поло-шутя мы его называли высокопарнымъ терминомъ «боевой организаціи». Такъ возникъ аппаратъ объединенія студентовъ «по-аудиторно».

Стали возстанавливать и другія уничтоженныя или придушенныя учрежденія; на примѣръ: столовую, подъ покровомъ «Общества вспомошествованія нуждающимся студентамъ». Стали расти и множиться кружки саморазвитія. Это не выходило за рамки студенческихъ интересовъ. Студенты оставались чужды политикѣ и на провокацію къ ней не подавались. Охранное Отдѣленіе было бы радо въ нее студентовъ втянуть, но для этого и оно оказалось безсильнымъ. «Политики» не было даже тогда, когда по внѣшности можно было бы ее заподозрить. Расскажу примѣръ этого.

Въ 89 году умеръ Н. Г. Чернышевскій. Онъ былъ изъ ссылки уже возвращенъ, жилъ въ Саратовѣ, не занимался политикой. Но его громкаго имени все же боялись. Незадолго до его смерти въ «Русской Мысли» была напечатана его статья *противъ* дарвинизма, за подписью «старый трансформистъ». Всѣ знали кто авторъ, но имени его называть позволено не было. Молодое поколѣніе Чернышевскаго уже не читало. Но его не забыли. Тогда даже въ учебникѣ Русской Исторіи Иловайскаго былъ помѣщенъ пренебрежитель-

ный отзывъ о его романѣ «Что дѣлать». А въ студенческой пѣснѣ сохранялся куплетъ:

«Выпьемъ мы за того,
Кто «Что дѣлать» писалъ,
За героевъ его,
За его идеаль».

Чернышевскій былъ для насъ символомъ лучшаго прошлаго. Кромѣ того онъ пострадалъ за убѣжденія, былъ жертвой несправедливости. Его смерть кое-что во всѣхъ затронула.

Власти хотѣли бы, чтобы она прошла незамѣтно. Лаконичное оповѣщеніе о ней было допущено въ газетахъ въ отдѣлѣ извѣстій. Панихидъ назначено не было. Мы, студенты, рѣшили, что этой смерти безъ отклика оставить нельзя. Не предупреждая священника, мы заказали въ церкви Дмитрія Солунскаго, противъ памятника Пушкина, панихиду въ память «раба Божія Николая». Объявленій въ газетахъ не помѣщали; но посредствомъ нашей «боевой организаціи» оповѣстили студенчество по аудиторіямъ.

Призывъ имѣлъ необыкновенный успѣхъ. Церковь была переполнена; многіе стояли на улицѣ. Я съ паперти наблюдалъ, какъ со всѣхъ сторонъ непрерывными струями вливались студенты. Встревоженный священникъ сначала отказался служить; его упростили, запугали или подкупили — не знаю. Власть панихиды не ожидала; мѣръ принять не успѣли. Это было скандаломъ. Въ декабрѣ 87 года, въ десятилѣтіе смерти Н. А. Некрасова, была задумана панихида по немъ въ той церкви Большого Вознесенія, гдѣ была свадьба Пушкина и которую большевики разломали. Некрасовъ не чета Чернышевскому; онъ былъ человекомъ легальнымъ. Годовщина его смерти была всей прессой отмѣчена. И все-таки, только потому, что инициаторами панихиды были неизвѣстные люди, которые что-то организовали безъ вѣдома власти, и разослали приглашеніе на панихиду,

церковь заперли, подходящихъ къ ней переписывали, и нѣсколькихъ лицъ — Фальборка, Новоселова (позднѣе основателя Толстовской Колоніи, а еще позднѣе священника) *арестовали*. Но на нашей панихидѣ произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное. Изъ церкви всѣ сами собой пошли процессіей въ университетъ. Это было по тому времени уже чрезвычайнымъ «событіемъ». Громадная толпа студентовъ шла по Тверскому бульвару и по Никитской безъ криковъ, безъ пѣнія, спокойно и стройно. Но это все же была уличная демонстрація; она всѣхъ захватила врасплохъ. Мы прошли мимо дома оберъ-полицеймейстера; несчастные городовые не знали, что съ нами дѣлать. Дошли до университета и вошли толпой въ садъ. Это была уже «сходка». И опять характерно для этого времени. Нѣкоторые хотѣли демонстрацію продолжать, произнести соотвѣтствующія случаю рѣчи. Большинство тотчасъ же заподозрило въ этомъ «политику» и не захотѣло. А когда стали настаивать, поднялись споры и шумъ и всѣ разошлись.

«Походъ по Тверскому бульвару», какъ его тогда называли, произвелъ впечатлѣніе. Генераль-губернаторъ былъ недоволенъ. Замѣшанъ былъ Чернышевскій; это казалось «*политикой*». Кромѣ того, обнаружилась организація. Администрація не была способна понять, что этотъ «инцидентъ» наоборотъ показалъ, насколько студенчество, даже организованное и передовое, было все-же лояльно настроено. Конечно, выступленіе обнаружало, что студенчество было не тѣмъ, чѣмъ его хотѣли бы видѣть; оно не относилось *враждебно* къ 60-мъ годамъ, почитало *прежнихъ* властителей думъ. Но выраженіе сочувствія памяти Чернышевскаго не превратилось въ антиправительственную демонстрацію, не осложнилось выходками противъ властей. Оно со стороны студенчества было выраженіемъ человеческого сочувствія, а не политической манифестаціей. Панихида не была борьбой съ властью. Но администрація этого и не понимала и не умѣла использовать.

У этой исторіи было одно продолженіе; оно интересно.

Въ день панихиды на моемъ курсѣ читалъ К. А. Тимирязевъ. Безъ церемоній мы рѣшили отмѣнить его лекцію. Какъ староста курса, я увѣдомилъ Тимирязева, что мы идемъ на панихиду и просимъ его не читать. Мы не думали, что этой просьбой его компрометируемъ. Онъ согласился. Когда же началось разслѣдованіе о панихидѣ, добрались и до этого. Передъ началомъ слѣдующей лекціи Тимирязева явился деканъ и вошелъ въ аудиторію вмѣстѣ съ профессоромъ. Тимирязевъ намъ объявилъ, что въ его согласіи не читать лекцію по просьбѣ студенчества было усмотрѣно съ его стороны «какъ бы заговоръ» и что ему за это сдѣлано замѣчаніе. Не знаю, кто былъ инициаторомъ такого нелѣпаго обращенія къ намъ. Едва Тимирязевъ окончилъ, деканъ Н. В. Бугаевъ добавилъ своимъ пискливымъ голосомъ, но онъ надѣется, что студенты въ «своемъ нравственномъ чувствѣ найдутъ основаніе, чтобы понять, насколько они были неправы, обращаясь къ профессору съ такой неосновательной просьбой». Я вскочилъ отвѣчать. Но деканъ уже махалъ на меня рукой и уходилъ. К. А. Тимирязевъ сразу лекцію началъ. Когда онъ кончилъ, мы долго ему аплодировали. Субъ-инспекторъ вбѣжалъ въ аудиторію, но мы продолжали при немъ.

Черезъ день я получилъ повѣстку, вызывавшую меня къ Попечителю. Тамъ я засталъ человѣкъ десять своихъ однокурсниковъ. Это показало, по какому дѣлу насъ вызвали; мы не могли только объяснить выбора, который былъ сдѣланъ въ средѣ нашего курса. Попечитель обратился къ намъ съ рѣчью. Если бы въ наши годы мы были умнѣе, она должна была намъ показать какимъ благожелательнымъ человѣкомъ былъ тогдашній попечитель Капнистъ. Но въ немъ, какъ во всякомъ начальствѣ, полагалось видѣть врага, и мы потомъ издѣвались надъ его рѣчью придираясь къ неудачнымъ словамъ. Онъ напомнилъ, что аплодисменты профессорамъ запрещаются, но что въ данномъ случаѣ дѣло

было не въ нихъ: «Вы не дѣти, да и я не дѣти» неудачно сказалъ онъ. Не будемъ играть въ прятки. Вы хотѣли сдѣлать демонстрацію, которая связана съ именемъ Чернышевскаго; Вы просили не читать лекціи, чтобы быть на *его* панихидѣ. Но какое отношеніе къ Вамъ, студентамъ естественнаго факультета, имѣлъ политико-экономъ Чернышевскій» Обращаясь къ стоявшему съ краю, онъ спросилъ: «Скажите, какія сочиненія Чернышевскаго Вы читали»? Вопросъ захватилъ его врасплохъ. Студентъ, большой, рослый уфимецъ Кротковъ, сконфуженно пробормоталъ: «я ничего не читалъ». Такой отвѣтъ ободрилъ попечителя. Онъ обратился къ другому, тотъ отвѣтилъ то-же. Мы становились смѣшными. Чтобы спасти положеніе, я заявилъ, что Чернышевскаго мы поминали не какъ студенты-естественники и не какъ политико-эконома. Кровная связь Чернышевскаго со студенчествомъ не оборвалась до сихъ поръ, что видно изъ студенческой пѣсни. Капнистъ понялъ, что я на этой скользкой почвѣ могу зайти слишкомъ далеко и перебилъ: «нельзя отмѣнять лекцій изъ-за пѣсенокъ». Затѣмъ сталъ говорить на чистоту. Онъ указалъ, что мы сами знали, что Чернышевскій въ свое время былъ осужденъ какъ преступникъ, что правительство чествовать его не позволило. Почему мы, студенты, могли думать, что общее правило къ намъ однимъ не относится? «Я позвалъ Васъ, сказалъ онъ въ заключеніе, не для наказанія, даже не для замѣчанія. Слава Богу, все окончилось благополучно: но если бы къ несчастью произошла на улицѣ какая бы то ни было стычка съ полиціей, то гдѣ бы былъ сейчасъ каждый изъ Васъ, одному Богу извѣстно. Но я прошу Васъ повторить всѣмъ, что я Вамъ говорю. Мои права ограничены, я не всегда буду въ состояніи Васъ защитить. Я пригласилъ именно Васъ не потому, чтобы считалъ Васъ болѣе виноватыми, чѣмъ другихъ. Я не знаю, кто затѣялъ эту исторію, и не хочу этого знать; но Вы, конечно, ихъ знаете и это имъ отъ меня передайте». Онъ затѣмъ объяснилъ, почему *насъ* выбралъ для передачи. Всѣхъ основаній не помню; тому про-

шло 45 лѣтъ. Одни были стипендіатами и могли лишиться стипендій; другіе были рецидивистами, ибо уже подвергались дисциплинарнымъ взысканіямъ. «А Васъ, сказалъ онъ мнѣ, я пригласилъ спеціально изъ-за Вашего темперамента; нужно, чтобы Вы прежде думали, а дѣйствовали только потомъ. Учитесь управлять собой раньше, чѣмъ можетъ быть Вамъ придется управлять и другими».

Не знаю, есть ли кто-либо въ живыхъ изъ тѣхъ, кто эту рѣчь слышалъ вмѣстѣ со мной, и кто помнитъ, какъ мы къ ней отнеслись. Уйдя отъ Попечителя, мы по свѣжей памяти его рѣчь записали, подчеркивая ея смѣшныя мѣста; ихъ было много. Потомъ съ насмѣшками распространяли ее, какъ бы исполняя данное намъ порученіе. Это не было ни умно, ни благородно. Однажды читая эту рѣчь съ интонаціями передъ профессорами, собравшимся у моего отца, я былъ удивленъ, что они не смѣялись. Въ отношеніи Попечителя къ намъ сказался не только самъ Капнистъ съ его доброй и хорошей душой. Въ немъ было и правильное пониманіе положенія. Несмотря на демонстрацію, которую можно было выдать за политическую, конечно, опасны для порядка мы *не* были. Но за то мы показали, какъ многого не понимали и не умѣли цѣнить.

Приблизительно въ это время началось кратковременное, но характерное и замѣтное движеніе въ студенчествѣ, которое стали называть «легализаторствомъ». Я не только къ нему принадлежалъ, но считался самымъ несомнѣннымъ его представителемъ. Объ этомъ я узналъ изъ мемуарной литературы, главнымъ образомъ изъ книжки В. М. Чернова «Записки Соціалъ-Революціонера». Эти его воспоминанія многое мнѣ въ моемъ собственномъ прошломъ показали съ другой стороны, чѣмъ я въ своей наивности думалъ.

Вотъ что по этому поводу пишетъ Черновъ:

«Вокругъ студента-юриста IV курса, В. А. Маклакова *), только что вернушагося изъ-за границы,

*) Это ошибка. Я не былъ ни юристомъ, ни четырехкурсникомъ.

сплотился кружокъ, лелѣявшій идею о легализаціи студенческихъ землячествъ. Идея принадлежала лично Маклакову. Онъ написалъ въ «Русск. Вѣд.» два-три фельетона о разныхъ типахъ студенческихъ организацій, корпорацій, научно-литературныхъ кружковъ и т. п. за-границей. Говорили о какомъ-то «докладѣ» совѣту профессоровъ, о шансахъ аналогичнаго доклада въ болѣе высокихъ сферахъ. Покуда-что, явилось «легализаторское» теченіе въ студенческой средѣ. Его сторонники говорили о необходимости, въ особенности на время «кампаніи» за узаконеніе студенческихъ организацій — воздержаться отъ всякаго рода выступленій»

Въ этихъ словахъ не все точно, и моя роль очень преувеличена. Но разъ она все-таки сдѣлана предметомъ чужихъ воспоминаній, я имѣю право рассказать то, что дѣйствительно было. Оно было гораздо скромнѣй и безобиднѣй.

Г л а в а IV.

НОВЫЯ ТЕЧЕНІЯ ВЪ СТУДЕНЧЕСТВѢ.

Осенью 89 года я поѣхалъ съ отцомъ въ Парижъ на всемірную выставку. Для студента такая поѣздка была рѣдкой удачей. Даже съ точки зрѣнія формальныхъ законовъ ему поѣхать за границу было не просто. Было необходимо свидѣтельство врача о болѣзни. Проф. Дьяконовъ свидѣтельство далъ. Надо было его утвердить во Врачебномъ Управленіи. Губернскій врачъ не взглянувъ на меня, написалъ на свидѣтельствѣ, что съ коллегой согласенъ. Эта безцѣльная ложь считалась необходимой; она напомнила мнѣ потомъ процедуру бракоразводныхъ процессовъ.

Это показывало, какъ мало власть сочувствовала поѣздкамъ молодежи за границу и старалась ее уберечь отъ впечатлѣній. Это было неумной политикой. Заграничныя впечатлѣнія для русской молодежи могли быть *полезны*. Если большевистская власть боится пускать свою молодежь за границу — это понятно. Но тогдашняя власть не была въ такомъ положеніи.

Заграничная поѣздка стала для меня откровеніемъ. Я упросилъ отца оставить меня въ Парижѣ по-дольше; онъ возвратился одинъ, и я пробылъ въ Парижѣ мѣсяцъ послѣ него. Это время было и для Парижа исключительнымъ временемъ. Была не только всемірная выставка; было столѣтіе Французской Революціи и апогей политической борьбы съ буланжизмомъ, выборы 89 года, которые буланжизмъ разгромили. Впечатлѣнія отъ этого безслѣдно пройти не могли. Менѣе всего заняла меня выставка. Я ходилъ по ней вмѣстѣ съ отцомъ; но у меня оказались *свои* интересы и завелись *свои* знакомства. Влекло къ себѣ и студенчество. Про парижскихъ студентовъ я зналъ только то, что существуетъ Латинскій кварталъ, идѣ они проживаютъ. Я думалъ, что этотъ кварталъ похожъ на нашу Казиху. Мнѣ хотѣлось поскорѣе ихъ найти, узнать, какъ имъ живется во Франціи. Примѣняясь къ нашимъ обычаямъ, я искалъ ихъ по наиболѣе дешевымъ столовымъ, рассчитывая ихъ увидать въ бѣдномъ и въ покошенномъ платьѣ. Я заговаривалъ съ незнакомыми и удивлялся, что попадалъ не на студентовъ. Меня выручилъ случай. Проходя по rue des Ecoles, я увидалъ флагъ и вывѣску: «Association générale des étudiants de Paris». Я сказалъ, что я русскій студентъ, который прибылъ въ Парижъ и хотѣлъ бы познакомиться съ ихъ учрежденіемъ. Отворившій дверь студентъ радостно потрясъ мнѣ руку и кликнулъ кого-то ихъ сосѣдней комнаты: «venez donc ici». Такъ началось наше знакомство.

Въ этой средѣ я прожилъ около мѣсяца. Черезъ нее окунулся и въ политическую горячку этого времени. Все

прельщало меня новизной. Даже на избирательныя афиши, которыя тогда расклеивали по всѣмъ стѣнамъ, я глядѣлъ съ волненіемъ и любопытствомъ. Тамъ оставались еще афиши знаменитыхъ выборовъ въ январѣ, когда Буланже былъ выбранъ депутатомъ Парижа и могъ сдѣлать переворотъ въ свою пользу. Къ сентябрю положеніе перемѣнилось. Страна мирнымъ голосованіемъ рѣшала чему быть: буланжизму или Республикѣ? Буланже былъ въ бѣгахъ. Его сторонники вели кампанію за него. Студенты, какъ избиратели, въ этой борьбѣ принимали участіе. Они стали водить меня на собранія; я слушалъ всѣхъ популярныхъ ораторовъ и знакомился на практикѣ съ избирательной кухней. Я не оставался пассивнымъ, дѣлалъ на собраніяхъ «interruptions», мѣшалъ говорить, одинъ разъ самъ благодаря этому чуть не попалъ на трибуну. Мнѣ такъ хотѣлось самому все испытать, что въ день выборовъ 22 сентября я въ избирательномъ участкѣ раздавалъ афиши и бюллетени, сидѣлъ въ партійномъ «permanence» и былъ счастливъ, когда на одномъ собраніи, гдѣ выступилъ Naquet противъ Bourneville, началась драка, остановленная пѣніемъ Марсельезы. Всѣ «впечатлѣнія бытія» для меня были новы и соблазны открытой политической жизни на долго меня отравили. Нѣсколько недѣль, что я провелъ здѣсь, меня переродили. Въ первые дни, когда мнѣ всучили на улицѣ прокламацію, я ее пряталъ отъ посторонняго взгляда. Возвращаясь въ Россію, я не думалъ, что кое-что надо спрятать, и на границѣ у меня «собрали кипу фотографій дѣятелей Французской Революціи, хотя я не безъ основанія называлъ ихъ ея «жертвами».

Но возвращаюсь къ «студенческой жизни». Я былъ потрясенъ Студенческой Ассоціаціей, которая такъ-же мало походила на наши землячества, какъ Латинскій кварталъ на Казихинскій переулокъ. Открытое существованіе студенческихъ учрежденій, активная поддержка ихъ со стороны университетскихъ властей и правительства, были для меня

неожиданны. Къ этому мы не привыкли. Ясно, что за это надо было платить. Существованіе Студенческой Ассоціаціи было бы невозможно, если бы студенты въ ней занимались «политикой». Это запрещалось самимъ уставомъ Ассоціаціи. Студенты, которые были полноправными гражданами, и наряду съ другими принимали участіе въ политической жизни страны, другъ съ другомъ боролись, могли безнаказанно быть къ правительству въ оппозиціи, *изъ своей Ассоціаціи* политику устранили. Партійныхъ споровъ въ ней не допускалъ не только уставъ, но и нравы студенчества. Отстраненіе отъ «политики», котораго въ Россіи отъ насъ *требовала* власть и за которое «старшее поколѣніе» насъ осуждало, какъ за равнодушіе къ гражданскому долгу въ Парижской Ассоціаціи напротивъ оказывалось признакомъ политической *зрѣлости*. Это было для меня первый урокъ, который было полезно продумать. Я кромѣ того могъ увидѣть, насколько французскіе студенты были образованнѣй насъ, которые больше воспитывались на журналистикѣ и публицистикѣ, чѣмъ на «первоисточникахъ». Легальная студенческая дѣятельность вела къ европейскимъ порядкамъ, не къ нашему русскому кипѣнію «въ дѣйствіи пустомъ». Тамъ я это понималъ и не разъ себя спрашивалъ: неужели наша власть этого не сумѣетъ понять?

Я открылъ въ Парижѣ и большую «сенсацію». Я узналъ, что лѣтомъ тамъ состоялся международный Студенческій Съѣздъ и на немъ были представлены *все*, кромѣ *русскихъ*. Меня упрекали: почему никто изъ насъ не пріѣхалъ? «Вѣдь и вамъ было послано приглашеніе черезъ вашего Министра Народнаго Просвѣщенія». Я негодовалъ на это незнакомство съ нашею жизнью. Рассказывалъ про наши отношенія съ властями, про подпольныя организаціи, землячества и т. д. Это было ново для нихъ; по ихъ просьбѣ я написалъ о нашемъ студенчествѣ статью для Бюллетеня Студенческой Ассоціаціи. Но меня утѣшали, что не все было потеряно. Вес-

ной будетъ новый съѣздъ въ Монпелье по поводу шестисотлѣтія тамошняго университета. Если бы мы прислали туда депутацію? Я съ радостью согласился на это. Было рѣшено, что по пріѣздѣ въ Москву я поставлю Парижскую ассоціацію въ непосредственную связь съ нашими организаціями и черезъ ихъ посредство наше студенчество свяжется съ международнымъ. Я получилъ письменныя полномочія отъ Ассоціаціи и ѣхалъ въ Москву въ увѣренности, что сближаю Россію съ Европой. Въ мои годы было естественно увлечься политической и студенческой жизнью Парижа. Но, конечно, у меня было къ этому *préjugé favorable*. Я слышалъ потомъ разговоръ двухъ студентовъ «бѣлоподкладчиковъ», которые были въ Парижѣ въ одно со мной время; никто изъ нихъ не заглянулъ ни въ Ассоціацію, ни въ политическія собранія. Они проводили очень весело время, но совершенно иначе.

Итакъ, благодаря этой поѣздкѣ, я неожиданно обрелъ для себя новую «вѣру». Потребность въ ней была такъ велика, что одного толчка оказалось достаточно. Я безъ усталости рассказывалъ товарищамъ о томъ, что видѣлъ. Написалъ фельетонъ «Парижская студенческая ассоціація». Это было мое первое печатное выступленіе. В. А. Розенбергъ, которому я вручилъ мою статью, въ своей книгѣ о «Русскихъ Вѣдомостяхъ» вспоминаетъ объ этомъ. Позднѣе я въ нихъ много писалъ. Мы собирались даже праздновать двадцатипятилѣтіе моей писательской дѣятельности; только оно совпало съ началомъ войны. Первый опытъ прошелъ не безъ огорченій. Когда я увидѣлъ свою статью напечатанной, гдѣ изъ 700 строкъ исключили не меньше 300, я пришелъ въ негодованіе; мнѣ казалось, что все въ ней испорчено.

Статья имѣла успѣхъ; студенты знали, кто авторъ, хотя были только инициалы. Она мнѣ создала популярность. Меня приглашали въ кружки рассказывать о томъ, что я видѣлъ. Общее сочувствіе этой статьѣ было характерно. Черезъ нѣсколько лѣтъ она была бы всѣми осмѣяна за оппор-

тунизмъ и аполитичность. Тогда же меня критиковали только отдѣльные лица. Большинство мнѣ явно сочувствовало. А я въ отвѣтъ усиленно хлопоталъ, чтобы отправили въ Монпелье авторитетную делегацію, чтобы она сама увидѣла, какъ дѣйствительно живутъ студенты въ Европѣ. Я былъ приглашенъ въ засѣданіе Центральной Студенческой Кассы и тамъ сдѣлалъ докладъ; такой же докладъ сдѣлалъ и въ Петровской Академіи. Никто мнѣ не возражалъ; всѣ находили, что сближеніе съ Европой открывало новые горизонты студенчеству. Никто не доказывалъ преимущества подполья передъ легальной жизнью. Посылка делегаціи была рѣшена; я собирался ѣхать и самъ, но хотѣлъ непременно, чтобы со мной поѣхали студенты болѣе лѣво настроенные. Я хотѣлъ, чтобы именно они убѣдились, что намъ не грѣхъ примѣръ брать съ Европы. Эти мои планы были разрушены беспорядками марта 1890 года.

Беспорядки 90 года носили другой характеръ, чѣмъ въ 87 году; къ нимъ и отнеслись по иному. Авгуры тогда говорили, что въ нихъ было не безъ «политики». Это невѣрно. Настроеніе таково еще не было. И поводъ для обоихъ беспорядковъ былъ одинаковъ: солидарность учащейся молодежи. Тогда въ 87 году другіе университеты «поддержали» Москву; сейчасъ московскій университетъ «поддержалъ» Петровскую Академію. Жизнь Петровской Академіи была непохожа на нашу; студенты жили въ общежитіи, внѣ Москвы; тамъ и для политики была болѣе благодарная почва. Я не помню причинъ разгрома, который въ 90 году тамъ совершился. Но когда съ начала марта стало извѣстно, что Академія закрыта, а студенты всѣ арестованы, это по детонаціи тотчасъ отразилось на насъ. 7 марта я работалъ въ Химической Лабораторіи, когда въ окно мы увидѣли, что въ саду собирается сходка. Мы бросились узнать, что происходитъ. Я боялся, что новые беспорядки намъ помѣшаютъ; уговаривалъ не торопиться, сначала узнать. На меня набросились, поднялись возраженія, крики. Мы не кончили

спорить, какъ въ ворота въѣхали казаки и насъ окружили; увели сначала въ манежъ, а когда стемнѣло, въ Бутырскую тюрьму, гдѣ и помѣстили всѣхъ вмѣстѣ. Насъ оказалось 389 человекъ.

Это сидѣнье могло лишній разъ подтвердить, какъ слабы были политическія настроенія въ нашемъ студенчествѣ. Въ тюрьмѣ мы прожили пять дней на полной «свободѣ». Дѣлали, что хотѣли; постоянно собирались на общія сходы, для «обсужденія своего положенія». Среди насъ вѣроятно были агенты; но о нихъ мы не думали. Они не мѣшали намъ на сходкахъ говорить о томъ, какъ мы будемъ «продолжать», когда насъ выпустятъ. На сходкахъ иногда читались доклады на общія темы. Интересы къ нимъ не проявлялось, а если докладчики подходили къ политикѣ, то «махали руками» и расходились. И мы нисколько себѣ не противорѣчили, когда проявили горячее сочувствіе къ «политическимъ арестантамъ». Разъ двухъ въ штатскомъ вывели на прогулку изъ башни — и мы ихъ увидѣли. Электрическій токъ пробѣжалъ по тюрьмѣ. Всѣ привалили къ окнамъ, пѣли имъ пѣсни, сообщали новости о томъ, что происходитъ, пока ихъ не увели. Потомъ цѣлый день сторожили всѣ окна башни, потому что въ одномъ изъ нихъ увидѣли руку, которая чертила въ воздухѣ буквы. Мы сочувствовали имъ лично, ихъ тяжелой судьбѣ, но какъ въ тюрьмѣ, такъ и на волѣ дѣятельность, за которую эти люди сидѣли въ мѣшкахъ, насъ не увлекала. Мы не вдохновлялись никакимъ другимъ чувствомъ, кромѣ долга студенческой «солидарности». Если были среди насъ люди другихъ болѣе серьезныхъ настроеній, ихъ было такъ мало, что они не выявлялись. Вѣроятно на насъ они смотрѣли съ большимъ сокрушеніемъ.

Зато мы не уставали развлекаться отъ бездѣлья. По вечерамъ устраивали литературно-музыкально-вокальные вечера, на которые приходили всѣ, не исключая тюремныхъ начальниковъ. Издавались двѣ газеты, которыя (уже тогда!)

шутя между собою бранились. Утромъ выходила либеральная газета, вечеромъ консервативная; ихъ читали на сходкахъ. Консервативная газета, которой я и Полѣновъ были редакторами, называлась «Бутырскія Вѣдомости» и имѣла эпиграфъ «Воздадите Кесарево Кесареви, а Божіе тоже — Кесареви». Либеральная газета называлась «Невольный Досугъ» и имѣла эпиграфомъ «изведи изъ темницы душу мою». Первый номеръ консервативной газеты начинался такъ: «Оффиціальныи Отдѣлъ». «Г. Министръ внутреннихъ Дѣлъ, освѣдомившись, что газета «Невольный Досугъ» позволяетъ себѣ» и т. д. «постановилъ объявить ей сразу три предостереженія въ лицѣ ея редакторовъ и подписчиковъ. Потомъ слѣдовала передовая статья, въ которой мы подражали Гринмуту: «съ глубокой радостью мы, какъ и всѣ истинно-русскіе люди, освѣдомились о распорядженіи Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ непростительная дерзость нашихъ псевдолибераловъ переходить всѣ границы позволеннаго. Извѣстно, что наше мудрое правительство въ своей заботѣ объ истинно научномъ просвѣщеніи открыло на дняхъ новое высшее учебное заведеніе — Бутырскую Академію. И что-же? Крамола забралась и сюда» и т. д. Дальше такихъ невинныхъ шутокъ не шли наши политическіе намеки. Чтобы оправдать нашъ нелѣпый арестъ, намъ было отъ оберъ-полицеймейстера предъявлено обвиненіе «въ принадлежности къ соціалъ-революціонной партіи». Насъ водили въ контору расписываться. Это обвиненіе казалось только смѣшно и всѣ безъ колебанія отрекались отъ принадлежности къ партіи. Правда въ первую же ночь нашего сидѣнья были увезены четверо товарищей: Антоновъ, Сапожниковъ, Сопоцько, я четвертаго не запомнилъ. Если они были «политики», то ихъ было немного. Да одного изъ нихъ, Сопоцько, надо скинуть со счетовъ. Позднѣе онъ прославился, но какъ изступленный черносотенецъ и провокаторъ. Сыщики, которые сидя среди насъ, писали доклады о нашемъ сидѣньи, должны были бы по совѣсти успокоить наше началь-

ство. Опасной политикой среди насъ и не пахло. Когда на 5-ый день судъ надъ нами окончился, намъ стали объявлять приговоры. Съ утра по группамъ вызвали въ контору «съ вещами», а вызванные не возвращались. Судъ установилъ нѣсколько категорій. Немногіе были совсѣмъ исключены; другіе отдѣлались пустяками. Я попалъ въ третью категорію, которая была уволена, но только до осени, съ правомъ обратнаго поступленія. Эта категорія была объявлена «серьезными виновниками, но не вовсе морально испорченными и дающими надежду на исправленіе». Объявивъ рѣшеніе часовъ въ 11 вечера, Пслицеймейстеръ съ вѣжливымъ поклономъ намъ возвѣстилъ «Вы свободны». Странно звучало это слово «свободны» въ тюрьмѣ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ освобожденія я получилъ изъ Монпелье приглашеніе на Студенческій Съѣздъ. Въ приглашеніи говорилось, что организаціонный комитетъ, узнавъ отъ своихъ товарищей по Парижской Ассоціаціи, какую полезную роль я сыгралъ въ устройствѣ депутаціи въ Парижъ (*sic!*), обращается ко мнѣ съ просьбой и т. д. Но положеніе перемѣнилось. Заграницу я ѣхалъ больше всего на этотъ разъ по настоящей болѣзни. Зимой на охотѣ я отравился тухлой колбасой, доктора меня залѣчили и потомъ сами заграницу послали. Но я уже не былъ студентомъ и не могъ быть въ депутаціи. Я передалъ приглашеніе въ Центральную Кассу и этимъ вопросомъ болѣе не занимался. Центральная Касса избрала депутатомъ студента Нижегородскаго землячества, естественника второго курса А. И. Добронравова. Для русскаго студента онъ былъ типиченъ: лохматый, съ длинными волосами и бородой, неряшливый, французскимъ языкомъ плохо владѣвшій. Въ своемъ землячествѣ онъ пользовался большимъ уваженіемъ. Я слышалъ потомъ много курьезовъ про организацію делегаціи. Члены Центральной Кассы письма писали по-русски; ихъ переводилъ преподаватель французскаго языка Дюсимитьеръ. Изъ осторожности старались писать неясно, чтобы

въ случаѣ перелюстраціи полиція не догадалась, въ чемъ дѣло. Первый ихъ не понималъ переводчикъ. Можно представить, что поняли французскіе адресаты! Послѣ перваго же отвѣта, въ Монпелье никакъ не могли догадаться, будетъ ли или нѣтъ депутація?

Но все обошлось благополучно. Добронравовъ поѣхалъ. Въ это время я жилъ въ Montreux. Я тамъ познакомился съ докторомъ Н. А. Бѣлоголовымъ; не заграничные специалисты, а онъ меня вылѣчилъ сразу, отмѣнивъ всѣ діеты, лѣкарства и истязанія, которымъ меня подвергали въ Москвѣ. Въ Montreux у вдовы эмигранта географа Л. И. Мечникова (брата біолога) я познакомился съ Элизе Реклю. Я часто бывалъ у него и мы вмѣстѣ гуляли. Я былъ начинавшій естествознаніе, онъ знаменитый натуралистъ. Но именно онъ болѣе всего отвратилъ меня отъ естествознанія. Онъ былъ теоретикомъ-анархистомъ; только это его и увлекало. «Какъ можетъ быть Вамъ интересно изучать естественныя науки? говорилъ онъ мнѣ. Развѣ въ нихъ сейчасъ дѣло! Человѣчество идетъ къ полному переустройству принциповъ обществитія. Всѣмъ нужно думать только объ этомъ, какъ въ Голландіи, когда грозитъ наводненіе, всѣ заняты только плотинами. Я пишу свою географію (Nouvelle Géographie Universelle) потому, что контрактрованъ Hachett'омъ, но когда кончу послѣдній томъ, брошу все, чтобы посвятить себя всецѣло соціальной борьбѣ. Изучать сейчасъ надо не естествознаніе; оно достаточно изучено, нужно изучать науки общественныя». Проповѣдь такого человѣка, съ его увлекательнымъ краснорѣчіемъ и энтузіазмомъ укрѣпила меня въ правильной мысли, что естественный факультетъ съ моей стороны былъ ошибкой и что единственную пользу, которую онъ мнѣ принесъ, была «передышка» послѣ гимназіи для сближенія со средой студенчества.

Въ Montreux я получилъ телеграмму, что Добронравовъ проѣзжаетъ черезъ Лозанну и вызываетъ меня на вокзалъ. Телеграмма пришла слишкомъ поздно; я встрѣтить его не

успѣлъ. Но я слѣдилъ за газетами, гдѣ описывали Монпельевскія празднества. Боюсь спутать то, что я читалъ въ газетахъ съ рассказами Добронравова и очевидцевъ о томъ же. Но успѣхъ вышелъ полный. Приѣздъ Добронравова сдѣлался событіемъ дня. Это были годы передъ заключеніемъ союза, когда популярность Россіи росла съ каждымъ днемъ. Россіи не знали, но въ ея силу такъ вѣрили, что союзъ съ ней казался спасеніемъ. Приглашеніе студентовъ на праздникъ было послано не мнѣ одному, т. е. нелегальнымъ путемъ, но и оффиціально «Министру». Во Франціи не различили, какое именно приглашеніе привело къ результатамъ, и присутствію русскаго делегата придали характеръ *оффиціальныи*. Ему сдѣлали трехцвѣтную ленту, дали въ руки такое же знамя и всякое его появленіе встрѣчали аплодисментами и исполненіемъ русскаго гимна. Министръ Народнаго Просвѣщенія Гобле его представилъ Карно, президенту французской республики. На банкетѣ мэръ Карно упомянулъ въ своей рѣчи о присутствіи русскаго делегата, видя въ этомъ доказательство растущаго довѣрія къ французской республикѣ. Когда Добронравовъ со студентами входилъ въ кафе, его узнавали и пѣли въ его честь «Боже Царя Храни». Мы изъ оппозиціонности не любили нашего гимна, но радикалу Добронравову приходилось снимать шляпу и благодарить. Это онъ дѣлалъ искренно. Атмосфера празднествъ его увлекла, и онъ мнѣ позднѣе писалъ, что если бы заранѣе зналъ, чѣмъ дѣло кончится, то все равно бы поѣхалъ.

Когда приблизился срокъ подачи прошенія о возвращеніи въ университетъ, я колебался, кончатъ ли сначала естественный факультетъ или сразу, не теряя времени, переходить на другой, гдѣ бы я могъ изучать науки объ обществѣ. Вопросъ рѣшился неожиданно. Къ отцу пришелъ бывшій въ то время помощникомъ ректора Н. А. Звѣревъ и сообщилъ, что получена бумага отъ Министра Народнаго Просвѣщенія, коей я «по политической неблагонадежности»

распоряженіемъ двухъ Министровъ — Внутреннихъ Дѣлъ и Просвѣщенія исключаясь изъ Университета безъ права поступленія въ другое учебное заведеніе. Это былъ волчій паспортъ. Начали справляться: Никто не зналъ ничего. Попечитель былъ задѣтъ мѣрой, принятой помимо него. Онъ снабдилъ отца письмомъ къ Министру Народнаго Просвѣщенія, графу Делянову и Директору Департамента Полиціи П. Н. Дурново. Попечитель въ немъ не только меня защищалъ, но соглашался принять меня на поруки. Въ Петербургѣ все кончилось благополучно. Мнѣ разрѣшили вернуться въ Университетъ на личную отвѣтственность Попечителя. Но въ чемъ была причина моего исключенія, не объяснили. Деляновъ не зналъ, ссылаясь на требованіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ. П. Н. Дурново не счелъ возможнымъ раскрыть «служебную тайну». Я ломалъ себѣ голову, что это значить. Мои ли прогулки съ Реклю или то, что проѣздомъ черезъ Парижъ я былъ на лекціи П. Л. Лаврова, гдѣ встрѣтилъ знакомыхъ?

Но какъ никакъ запрещеніе было снято; мнѣ пришлось пойти къ Попечителю; я былъ у него на порукахъ. Онъ былъ очень радушенъ. «Радъ, что смогъ Вамъ помочь, сказалъ онъ, знаю Ваши грѣхи, но знаю, что Вамъ можно вѣрить. Помните, что теперь я за Васъ отвѣчаю. Я Вамъ ставлю условіе: Вы не должны участвовать ни въ какихъ запрещенныхъ организаціяхъ; все это теперь Вамъ надо оставить». Мнѣ не было выбора; я обѣщалъ и изъ всѣхъ организацій дѣйствительно вышелъ. «Но это не все», сказалъ мнѣ Капнистъ: «не какъ условіе, а какъ совѣтъ, я Вамъ говорю: бросьте свой факультетъ, онъ не по Васъ». Этотъ совѣтъ, такъ курьезно совпавшій съ совѣтами анархиста Реклю, не противорѣчилъ моимъ настроеніямъ, но меня удивилъ. Я спросилъ: почему? Мотивы Капниста были неожиданны. Онъ привелъ справку, что естественный факультетъ далъ второй разъ наибольшій процентъ участниковъ въ беспорядкахъ. Я не сталъ спорить съ нимъ; переменна фа-

культета въ сущности совпала съ моими намѣреніями. Общественныя науки изучать можно было и на историческомъ и на юридическомъ факультетахъ. Историческій факультетъ былъ лучше по составу профессоровъ, и кромѣ того я унаследовалъ отъ отца традиціонное нерасположеніе къ юриспруденціи. Я поэтому перешелъ на Историческій факультетъ и объ этомъ никогда не жалѣлъ.

Прошло нѣсколько времени и все стало ясно. Добронравовъ меня извѣстилъ, что онъ тоже «по политической неблагонадежности» исключенъ. Постановленіе объ этомъ было принято въ одинъ день съ моимъ. Это показало въ чемъ дѣло. Мы съ Добронравовымъ отвѣчали за Монпелье, за привѣтствіе Президента Карно, за оваціи Франціи по адресу Россіи, за постоянное исполненіе «Боже Царя Храни». Я написалъ объ этомъ въ Парижскую Ассоціацію; получилъ отвѣтъ, что Французскій Министръ Народнаго Просвѣщенія, черезъ Посла свидѣтельствовалъ о полной корректности поведенія Добронравова, просилъ не ставить ему въ вину, что присутствовалъ на официальныхъ торжествахъ. Кромѣ этого, я началъ дѣйствовать самъ. Я отправился къ попечителю съ товарищемъ по естественному факультету В. В. Марковниковымъ, сыномъ профессора химіи. Не помню, на какомъ основаніи я его захватилъ; потому ли, что онъ замѣнилъ меня какъ «староста курса» или что былъ представителемъ нашего землячества въ Центральной Кассѣ. Нашъ визитъ былъ характеренъ для стараго времени, воплощавшаго столько противорѣчій. Мы пришли хлопотать за Добронравова. Но я самъ еще недавно былъ исключенъ по волчьему паспорту, а Марковниковъ, который въ этомъ дѣлѣ былъ ни при чемъ, въ оправданіе своего права ходатайствовать, могъ сослаться только на свои «нелегальные титулы». «Я понимаю теперь, говорилъ я Попечителю, почему меня исключили; *этой* причины раньше я себѣ представить не могъ.» Я рассказалъ все, что было, начиная съ того, какъ я былъ огорченъ, что русскихъ не было на студенческомъ

съѣздъ въ Парижѣ; что я рѣшилъ поправить, это по крайней мѣрѣ въ Монпелье, что и сдѣлалъ. Капнисть сочувственно слушалъ, прибавивъ, что зналъ про съѣздъ въ Монпелье и что приглашеніе было прислано и ему; онъ прибавилъ, что, по «свѣдѣніямъ», въ Монпелье дѣйствительно ничего вреднаго не было. Но прибавилъ онъ: «вѣдь Вы же знали, что посылать туда самовольно депутацію было нельзя, почему не пришли спросить моего разрѣшенія»? Моя позиція была благодарна. «Я зналъ, что этого дѣлать нельзя, но зналъ также и то, что Россіи стыдно было быть гамъ не представленной. Я думалъ, что и Вамъ было этого стыдно. Но какъ я могъ просить у Васъ разрѣшенія, зная, что разрѣшить Вы сами не имѣли бы права? Вы бы мнѣ отвѣтили, какъ Цезарь: «это надо было сдѣлать, но объ этомъ не надо было спрашивать». Ссылка на Цезаря должна была Капнисту понравиться; онъ былъ убѣжденнымъ классикомъ. «Чего же Вы хотите теперь отъ меня»? — «Чтобы Вы сдѣлали для Добронравова то-же, что сдѣлали для меня. Возьмите его на поруки». «Но я его вовсе не знаю». «Мы Вамъ за него оба ручаемся». Попочитель помолчалъ. «Даете Вы слово, что онъ ни въ чемъ, кромѣ этой поѣздки, не замѣшанъ»? Искренно, но, конечно, съ достаточнымъ легкомысліемъ, мы слово дали. «Хорошо, отвѣтилъ Капнисть, я Вамъ вѣрю и напишу въ Министерство.» Онъ дѣйствительно написалъ. Не знаю, чѣмъ это могло бы окончиться. Жаль для полноты фигуры столь мало оцѣненного попечителя, что онъ не оказался поручителемъ и за Добронравова. Довести дѣла до конца не пришлось. Черезъ нѣсколько дней пришла телеграмма, что Добронравовъ скончался отъ нарыва въ ухѣ, который вызвалъ зараженіе крови.

Такова была развязка нашего сближенія съ Европейскимъ студенчествомъ. Добронравовъ и я были исключены по «политической неблагонадежности». Достаточно этого эпизода, чтобы видѣть, что наряду съ патріархальнымъ добродушіемъ, государственная власть этого времени могла

обнаруживать и совершенно бессмысленную жестокость. Вѣдь это только случай, а вѣрнѣе сказать «протекція», если распоряженіе двухъ министровъ меня не раздавило совсѣмъ. А сколько были раздавлены!

На моей личной судьбѣ это отразилось своеобразно. Ради этого я не кончилъ Естественнаго факультета и перешелъ на Историческій. Затѣмъ, исполняя данное мною обѣщаніе, устранился отъ подпольной студенческой жизни. Склонность къ дѣятельности во мнѣ не прошла: но я могъ проявлять ее только въ условіяхъ, которыя не противорѣчили моему обѣщанію. Этой причины было бы достаточно, чтобы я пошелъ по дорогѣ именно «легализаторства». Но конечно къ «легализаторству» меня влекли и заграничныя впечатлѣнія, соблазны открытой, легальной дѣятельности, для которой ненужно было подполья и конспираторства, т.-е. моя новая «вѣра». Мнѣ хотѣлось перенести къ намъ эти порядки. Пересадить сразу въ Москву Парижскую Студенческую Ассоціацію было очевидно нельзя. Но можно было идти къ тому медленно, организовывая спеціальныя учрежденія для болѣе узкихъ и закономъ признанныхъ цѣлей. Потомъ все это объединилось бы въ одной всеобъемлющей организаціи. Важно было заставить признать самый принципъ. Изъ такихъ разсужденій родилось «легализаторство» въ студенческой жизни, которое продолжалось недолго, но прожило достаточно ярко.

* *
*

Это теченіе, бывшее параллелью соглашательскимъ тенденціямъ и въ взросломъ обществѣ, стало возможно на время вслѣдствіе дружелюбнаго отношенія къ нему Университетскихъ властей. Разумѣю не только Попечителя, но и инспектора С. В. Доброва. Онъ былъ своеобразной фигурой Университета и просто Москвы. Можно удивляться непо-

слѣдовательности нашего начальства, которое замѣнило Брызгалова Добровымъ. Я Брызгалова лично не зналъ. Встрѣчалъ его только на улицѣ и узнавалъ по формѣ, которую онъ носилъ, чтобы студенты не забывали отдавать ему честь. Брызгаловъ былъ худощавый человекъ, съ черной бородой, деревяннымъ лицомъ и мертвыми глазами. Онъ проникся сознаниемъ долга «передѣлать» студенчество въ духѣ устава 84 г., придирчиво слѣдилъ не только за ношеніемъ формы, посѣщеніемъ лекцій, но и за «направленіемъ»; не брезгалъ доносами и «наблюденіемъ» не только за студентами, но и за профессорами. Въ университетѣ всѣ его не любили. Послѣ скандала 87 г. рѣшено было перетянутыя возжи ослабить, тѣмъ болѣе, что настроеніе студентовъ надобности въ свирѣпости не показывало. Но, если не упразднить Инспекціи вовсе, никто менѣе С. В. Доброва не былъ предназначенъ для *инспекторской* роли. Врачъ по образованію, добрый, толстый, страдающій отдышкой, лѣнивый и тяжелый на подъемъ, онъ былъ типомъ стараго студента, съ его традиціями. Онъ понималъ свою роль какъ защитника студентовъ отъ грозившихъ имъ со всѣмъ сторонъ непріятностей; если онъ не лѣзъ за студентовъ въ огонь, то только потому, что для этого вообще былъ по натурѣ слишкомъ пассивенъ. Такое отношеніе къ своей должности не было съ его стороны обманомъ довѣрія: онъ не могъ вбить себѣ въ голову, чтобы отъ него ждали *другого*. Онъ воспитывался на старыхъ традиціяхъ, на легендарномъ инспекторѣ Николаевской эпохи Нахимовѣ и не боялся студенческихъ вольностей. Онъ не считалъ ихъ опасными ни для университета, ни для государства, а стремленіе устава 84 г. молодежь «передѣлать» осуждалъ всѣмъ своимъ старческимъ опытомъ. Молодежь, думалъ онъ, всегда одинакова и бояться ея нечего. Въ немъ была другая черта. Снисходительное отношеніе Доброва къ нарушителямъ университетскихъ порядковъ нельзя объяснить только его добродушіемъ. Я не разъ удивлялся, какъ мало значенія онъ придаетъ студен-

ческимъ выходкамъ. Серьезными онъ ихъ не считалъ. Студенты совсѣмъ не такъ страшны, какъ кажутся, говаривалъ онъ; кончатъ университетъ, посмотрите, что изъ нихъ выйдетъ. Въ такомъ отношеніи къ нимъ была нотка пренебреженія. Потомъ я это понялъ. С. В. Добровъ лучше насъ зналъ оборотную сторону студенчества. Зналъ, чего мы не видѣли, чему бы и не повѣрили. Какъ Революція открыла агентовъ охраны тамъ, гдѣ ихъ не подозрѣвали, такъ должность инспектора показывала ему студенческихъ героевъ съ неизвѣстной ни для кого ихъ изнанки. Сколько «непримиримыхъ борцовъ», когда они попадали въ бѣду, ходили къ Инспектору просить заступничества. Какъ-то я узналъ объ арестѣ Н. П. А., виднаго студенческаго дѣятеля, ставшаго позднѣе радикальнымъ журналистомъ, а къ концу жизни работавшаго съ большевиками. Не сомнѣваясь, что это долженъ былъ быть арестъ политическій, я пошелъ къ Доброву «хлопотать». Добровъ спокойно отвѣтилъ, что все обошлось, что женщина, въ которую Н. П. стрѣлялъ, его уже простила и дѣло замято. Я не понималъ: причемъ могла быть тутъ женщина? С. Добровъ невозмутимо мнѣ объяснилъ, что А. жилъ на содержаніи женщины, съ которой не поладилъ, и у нихъ произошла «непріятность». Онъ говорилъ это равнодушнымъ тономъ, какъ всегда пыхтя и отдуваясь. Замѣтивъ впечатлѣніе, которое на меня его рассказъ произвелъ, онъ началъ смѣяться, трясясь всѣмъ животомъ: «эхъ вы, дитѣ». С. Добровъ видѣлъ столько оборотныхъ сторонъ и столько метаморфозъ, что могъ быть не очень чувствителенъ къ студенческимъ подвигамъ и громкимъ словамъ. Съ С. В. Добровымъ мнѣ пришлось много совмѣстно работать. Онъ самъ подходилъ къ идеологіи «легализаторовъ». Студенческое желаніе дѣлать *совмѣстно* полезное дѣло опаснымъ ему не казалось. Правда это запрещали формальныя препятствія, но ихъ можно всегда обойти. «Дѣлайте это «совокупно», но не «коллективно» — объяснялъ онъ намъ безъ всякой ироніи; коллективныя дѣй-

ствія вѣдь не дозволяются». Этотъ инспекторъ, какъ и попечитель были администраторами старой Москвы, для которыхъ Петербургскіе законы не были писаны. Безъ такого отношенія «легализаторство» совсѣмъ не имѣло бы почвы.

И Добровъ и графъ Капнистъ собирались мѣшать намъ тѣмъ менѣе, что по началу «легализаторство» не было какою-либо «системою дѣйствій». Это движеніе рождали отдельные поводы. Мы только старались использовать возможности, которыя намъ открывались, не думая о томъ, что потомъ изъ этого выйдетъ.

Знаменательно, что это новое теченіе въ студенческой жизни, началось съ такого безобиднаго факта, какъ реформа Оркестра и Хора. Оркестръ и Хоръ со времени Брызгалова были единственнымъ легальнымъ студенческимъ учрежденіемъ. Репутація у нихъ была очень плохая. Созданные инициативой Брызгалова, они превратились въ привилегированную группу студентовъ. Они устроили тотъ концертъ, который былъ поводомъ къ посѣщенію Государя. Послѣ этого имъ все стало дозволено. Говорили, будто профессора должны были относиться къ нимъ снисходительно на экзаменахъ, потому что Брызгаловъ являлся за нихъ ходатаемъ и инсинуировалъ, что профессора къ нимъ придираются изъ «либерализма». Говорили, что вырученныя изъ концерта деньги они дѣлятъ между собой, или оставляютъ въ распоряженіи того же Брызгалова для его протекже. Многое изъ того, что говорилось, могло быть злостною сплетней. Но постановка дѣла въ Оркестрѣ и Хорѣ, ихъ интимная близость къ Брызгалову эти слухи плодила. При Добровѣ положеніе переменилось. С. Добровъ раздѣлялъ общее противъ нихъ предубѣжденіе; но онъ ничего не мѣнялъ и формально дѣло шло, какъ и прежде. Но группѣ студентовъ, неимѣвшихъ никакого отношенія къ Оркестру и Хору, пришла мысль: создать изъ Оркестра и Хора типъ не только легальной, но свободной, самоуправляющейся студенческой организаціи и примирить съ ней студентовъ.

Мы не ломали голову, какъ это сдѣлать. Безцеремонности у насъ было больше, чѣмъ уваженія къ чужимъ правамъ. Нѣсколько товарищей, всѣхъ именъ я не помню, рѣшили этимъ дѣломъ заняться. Мы сочинили новый уставъ для Оркестра и Хора. Уставъ ставилъ во главѣ дѣла, какъ исполнительный органъ, избранную Оркестромъ и Хоромъ комиссію, состоящую изъ членовъ Оркестра и Хора и на половину изъ студентовъ къ нимъ не принадлежащихъ. Распоряжалось всѣмъ общее собраніе Оркестра и Хора. Ни инспекторъ, ни Попечитель никакого отношенія къ нашему самоуправленію имѣть не должны были. Была полная автономія. Присутствіе въ исполнительномъ органѣ половины не членовъ Оркестра и Хора было символомъ, что Оркестръ и Хоръ стали разсматриваться какъ органъ *всего* студенчества. Поэтому собранія ихъ были публичны. Все это мы сами придумали. Оркестръ и Хоръ на эту работу насъ не уполномочивалъ и о ней даже не зналъ. Это насъ не смущало. Послѣ осенняго концерта должно было быть по обычаю собраніе членовъ Оркестра и Хора для утвержденія отчета, распредѣленія денегъ и другихъ текущихъ дѣлъ. Это все обыкновенно происходило домашнимъ образомъ въ Инспекторской канцеляріи по инициативѣ дирижеровъ, какъ главныхъ руководителей дѣла. Но на этотъ разъ мы попросили С. Доброва разрѣшить намъ собраться въ аудиторіи. Ему это было только пріятно, такъ какъ близостью съ Оркестромъ и Хоромъ онъ тяготился. На собраніе мы привели нашихъ сторонниковъ. Когда официальная часть была окончена, я выступилъ съ обвинительной рѣчью противъ всей постановки дѣла въ Оркестрѣ и Хорѣ, доказывалъ, что существованіе ихъ все студенчество компрометируетъ. Было бы просто меня попросить удалиться. Но приглашенная нами аудиторія была на нашей сторонѣ: и въ Оркестрѣ и Хорѣ оказались люди, которые намъ сочувствовали. Наконецъ по существу мы были правы. Съ нами стали спорить и это уже было нашей побѣдой. Наша безцеремонность дошла

до того, что мы предложили сразу голосовать нашъ проектъ. Это предложеніе конечно пройти не могло. Была выбрана комиссія, которой поручили разсмотрѣть нашъ проектъ и меня, какъ инициатора, пригласили въ эту комиссію. А черезъ нѣсколько времени проектъ нашъ былъ принятъ сначала комиссіей, потомъ общимъ собраніемъ; при поддержкѣ Дюброва онъ былъ утвержденъ Попечителемъ. Была создана первая Хозяйственная Комиссія изъ 12 человекъ, въ которой я избранъ былъ предсѣдателемъ. Ни Дюбровъ, ни Попечитель въ нашемъ проектѣ не видѣли никакого подвоха, а только полезное дѣло. Для насъ же оно стало показателемъ «новаго курса». Вѣдь какъ ни какъ было организовано нѣкое легальное студенческое самоуправленіе. С. В. Завадскій въ воспоминаніяхъ о Московскомъ Университетѣ, напечатанныхъ въ сборникѣ «Московскій Университетъ» (1755—1930) правильно отмѣчаетъ, что эта комиссія являлась «единственнымъ» выборнымъ общественнымъ органомъ. Изъ-за этого мы и старались. Послѣ очередного концерта отчетъ обсуждался въ публичномъ засѣданіи; было постановлено отдать всѣ деньги въ «Общество вспоможенія нуждающимся студентамъ» безъ какихъ бы то ни было привилегій для Оркестра и Хора. Это была популярная мѣра; отчетъ былъ напечатанъ и расклеенъ. Студенты не безъ удовольствія читали, что распредѣленіе денегъ было сдѣлано по *постановленію* общаго собранія Оркестра и Хора, а не такъ какъ прежде по распоряженію власти. Для того времени это былъ *новый* языкъ.

Но Оркестру и Хору пришлось обратить на себя больше вниманія. Осенью опредѣлился знаменитый голодъ 91 года. Послѣ попытокъ его отрицать и замалчивать, подъ вліяніемъ знаменитыхъ писемъ В. Соловьева, Д. Самарина, В. Короленко, наконецъ Льва Толстого, правительство должно было сдаться и обществу была предоставлена свобода для помощи голодающимъ. Оно со страстностью на эту свободу набросилось.

Предстоялъ нашъ осенній концертъ и передъ Хозяйственной Комиссіей сталъ вопросъ: прилично ли въ этихъ условіяхъ дѣлать концертъ въ свою пользу? Мы рѣшили, что нужно отдать весь сборъ голодающимъ. Этотъ проектъ вызвалъ однако большое неудовольствіе. Насъ обвиняли, что красивый жестъ будетъ сдѣланъ за счетъ бѣднѣйшихъ студентовъ. Въ этомъ была доля правды. Но мы не сдавались. Мы предпочитали совсѣмъ отказаться отъ очередного концерта, чѣмъ давать его въ нашу пользу. Мы рѣшили рискнуть. Было созвано общее собраніе; во всѣхъ пріемныхъ вывѣшены повѣстки о его цѣли. Интересъ къ собранію былъ громадный. Помню, какъ подходя къ Университету, я видѣлъ непрерывныя струи студентовъ, которыя со всѣхъ сторонъ въ него вливались. Большая Словесная была переполнена до отказа. Многіе стояли на лѣстницѣ. Инспекція и педеля испугались; боялись столкновений. Страсти разгорѣлись и пришло много противниковъ. Меня предупреждали, что пришла оппозиція, что намъ будутъ свистать. Предсѣдательствовалъ на собраніи дирижеръ хора, добродушный розмазня, В. Г. Мальмъ. Лицо его всегда сіяло блаженной улыбкой, онъ не сумѣлъ бы управиться съ беспорядками. Въ такихъ непривычныхъ для Россіи условіяхъ мнѣ пришлось выступать: многолюдныхъ митинговъ тогда еще не бывало. Я выступилъ съ первой въ моей жизни большой политической рѣчью. Я говорилъ о голодѣ, о томъ, что все общество поднимается на помощь голоднымъ, что студенчество не можетъ отстать отъ общаго порыва; что мы потеряемъ всякое право на это, если въ это время пойдемъ просить о помощи *нашей* нуждѣ. Говорилъ о томъ, что бѣдные студенты не беззащитны, что мы сами своими силами устроимъ имъ помощь, что сочувствіе къ нимъ возрастетъ отъ нашего жеста, что они первые заинтересованы въ томъ, что мы сейчасъ предлагаемъ. Успѣхъ превзошелъ ожиданія. Заключительныя слова были покрыты такими аплодисментами, что никто возражать не рѣшился. О

томъ, какое эта рѣчь произвела впечатлѣніе, можно судить по тому, что черезъ 40 лѣтъ двое студентовъ, которые тогда ее слышали, И. П. Алексинскій и С. В. Завадскій въ своихъ воспоминаніяхъ о ней говорятъ (Московскій Университетъ, юбилейное изданіе). На другой день я по всему Университету былъ прославленъ ораторомъ. Противъ насъ было подано всего 15 голосовъ, и было рѣшено отдать свой концертъ голодающимъ.

Въ связи съ этимъ тотчасъ началось новое дѣло. Такъ какъ отъ нашего рѣшенія страдали пуждающіеся студенты, то было постановлено справиться съ этой нуждой путемъ самопомощи. Хотя это насъ, Хозяйственной Комиссіи, и не касалось, она взяла на себя это устроить. Мы добыли отъ Попечителя разрѣшеніе на устройство официальной среди студентовъ. Этотъ взносъ, показавшій, что онъ оцѣнилъ отдачушей просьбѣ популярныя профессора вручали ихъ курсамъ, произнося рѣчи о солидарности, объ обязанности студентовъ другъ другу помочь. Все это были новыя приемы, съ Уставомъ Великой Княгини Елизаветы Теодоровны. Это требованіе концерта въ пользу голодающихъ на много превысило сумму обычныхъ въ пользу студентовъ сборовъ, а подписка дала вдвое больше чѣмъ самъ концертъ. Такъ студенты отъ этого начинанія дѣйствительно получили не только моральную, но и матеріальную выгоду.

Это было триумфомъ «новой политики». Оркестръ и Хоръ, на которые раньше смотрѣли какъ на отверженныхъ, сдѣлались героями дня. Студенчество поняло, что это учрежденіе стало общимъ ихъ дѣломъ. А обстановка собраній Оркестра и Хора, гдѣ говорить могъ всякій, многочисленность ихъ, публичность, полная свобода и при этомъ легальность, привлекали своей новизной. Давно въ Университетѣ ничего подобнаго не было. Аудиторіи на собраніяхъ были набиты биткомъ. Когда окончился срокъ полномочій первой Комиссіи и мы въ своей дѣятельности давали отчетъ, то по приему, который былъ сдѣланъ моею заключи-

тельной рѣчи, мы могли судить о популярности, такъ быстро нами пріобрѣтенной.

Чтобы поддерживать связь Оркестра и Хора со студенчествомъ, мы рѣшили ежегодно, хотя бы частями, Комиссію обновлять. Главные ея дѣятели, я въ томъ числѣ, на второй годъ баллотироваться не стали. У меня къ тому же былъ новый планъ.

Среди этихъ успѣховъ мы не замѣтили сразу затрудненій, которыя стали возникать передъ нами. Надо было обладать большою наивностью, чтобы вообразать, что при тогдашнемъ режимѣ могло создаться совершенно *свободное самоуправляющееся учрежденіе*. У него явились враги не только справа, но главное слѣва. Правительство не было способно понять, насколько для него было выгодно направлять энергію студентовъ на такія *безобидныя* и даже *полезныя* цѣли и отвлекать студентовъ отъ соблазновъ и искушеній подполья. Слева же наоборотъ это отлично постигли и испугались.

Практически это сказалось сразу послѣ концерта. Здѣсь вышелъ непредвидѣнный казусъ. Давая концертъ, мы не подумали, *кому* отдать деньги. Это казалось деталью, которую собраніе рѣшить въ свое время. Но когда собраніе было назначено, Попечитель потребовалъ, чтобы деньги были отданы въ Оффиціальныи Комитетъ сбора для голодающихъ, отдѣленіе котораго въ Москвѣ было подъ предсѣдательствомъ несовмѣстимые. Все удалось совершенно. Сборъ съваніе насъ очень смутило. Противъ самаго Комитета мы ничего не имѣли; во главѣ дѣла стоялъ Д. Ф. Самаринъ, популярный за свое энергичное выступленіе по поводу голода. Самъ Великій Князь Сергѣй Александровичъ только что назначенный въ Москву генераль-губернаторомъ на мѣсто В. А. Долгорукова, не успѣлъ себя показать съ дурной стороны. Относительно студентовъ онъ сумѣлъ даже сдѣлать красивый жестъ. Какъ и другія начальствующія лица въ Москвѣ, онъ имѣлъ даровое кресло на всѣхъ спектак-

ляхъ. Въ день концерта онъ прислалъ адъютанта запла-
тить за свое кресло 50 рублей и внести 1000 р. въ пользу сту-
дентовъ подписки. Намъ выдали подписные листы. По на-
концерта голодающимъ, несмотря на нашу нужду, былъ
очень замѣченъ. По существу мы противъ желанія Попечи-
теля могли бы не спорить. Но мы были задѣты, что отъ-
насъ этого *требовали*; это нарушало наши *права*. Но
конфликта съ Попечителемъ *изъ-за этого* мы не хотѣли. Мы
пошли на «компромиссъ», какъ въ такихъ случаяхъ прихо-
дится дѣлать. Начались необычные для нашихъ нравовъ
дипломатическіе переговоры между попечителемъ и студен-
ческой организаціей и мы кончили миромъ. Требо-
ваніе попечителя было имъ взято назадъ. Онъ написалъ
намъ *другую* бумагу; онъ предоставлялъ намъ свободу рѣ-
шить, куда направить наше пожертвованіе, но требовалъ
чтобы деньги были отданы не *частнымъ* лицамъ, а *офици-*
альному учрежденію. А за то мы обѣщали *отъ себя* пред-
ложить Общему Собранію направить деньги въ Комитетъ
Великой Княгини. Для насъ, конечно, былъ рискъ; мы
брали на себя слишкомъ много; съ нами могли не согла-
ситься, и что еще хуже — съ общимъ собраніемъ мы вели
двойную игру. Всей правды мы ему сказать не могли. Од-
нако все обошлось. Новое требованіе Попечителя было въ
нравахъ этого времени. Оно никого не удивило и устранило
самые популярныя проекты направленія денегъ. Оппоненты
не были подготовлены для возраженій, да по тогдашнимъ
временамъ возражать могло казаться не безопаснымъ. Какъ
бы то ни было, противъ нашего предложенія никто не под-
нялся. Одинъ студентъ попросилъ проголосовать еще разъ
обратнымъ порядкомъ: *сидеть*, а не вставать несогласнымъ.
Въ этомъ былъ психологическій смыслъ; но студенты уже
были связаны состоявшимся голосованіемъ и мнѣній не пе-
ремѣнили. *Потомъ* насъ осуждали и правильно; но это при-
помнилось гораздо позднѣе.

Казалось все сошло благополучно. Рѣшеніе состоялось
въ томъ смыслѣ, какъ мы обѣщали, и какъ хотѣлъ Попечи-

тель. Деньги Великой Княгини были отвезены депутаціей, въ которую вошли предсѣдатели и казначеи старой и новой Комиссіи. Мое участіе въ этой депутаціи позднѣе слѣва мнѣ поставили тоже въ вину. Но, несмотря на благополучный исходъ, студенческая инициатива съ концертомъ наверху не понравилась. Не понравилось въ ней именно то, что насъ привлекало; то, что студенты показали себя хозяевами собственнаго дѣла, что оказалось необходимымъ считаться съ волей общаго собранія, что не начальство, а мы распоряжались. Это противорѣчило не только духу Устава 1884 г., но духу режима.

Несочувствіе не замедлило обнаружиться. Наступило время весенняго концерта. Новая Комиссія понимала, что давать концертъ въ свою пользу теперь было еще невозможнѣй, чѣмъ осенью, и возбудила вопросъ объ устройствѣ втораго концерта на *тѣхъ-же основаніяхъ*. Но наверху «продолженія» опыта уже не хотѣли. Попечитель сообщилъ Комиссіи, что разрѣшенія не будетъ. Кто на этомъ настоялъ, осталось загадкой; рѣшеніе шло очевидно не отъ него, а противъ него. Возникъ вопросъ: что же дѣлать? Было послѣдовательно одно: отъ концерта совсѣмъ отказаться; давать его въ свою пользу было очевидно нельзя. Хозяйственная комиссія предложила это собранію. Она просила меня придти ее защищать. Я согласился охотно, такъ какъ такому рѣшенію очень сочувствовалъ. Но въ день засѣданія Попечитель потребовалъ, чтобы я съ рѣчью не выступалъ, и напомнилъ, что я у него на поручахъ. Я подчинился. Предложеніе комиссіи защищали другіе. Но настроеніе было не прежнее. С. В. Завадскій былъ главнымъ ораторомъ *противъ* проекта Комиссіи. Онъ понималъ, что мы отдали первый концертъ голодающимъ, но не могъ понять, что мы отъ концерта хотимъ совсѣмъ отказаться. Въ его воспоминаніяхъ объ этомъ концертѣ память ему измѣнилась; спорить ему пришлось не со мной. При голосованіи сошлись голоса правыхъ и лѣвыхъ. Правые не хотѣли идти противъ желанія власти; а лѣвые защищали нужды студен-

чества, тѣмъ болѣе, что новой «подписки» намъ бы не разрѣшили. А демонстраціи за чужой счетъ они не хотѣли. Предложеніе Хозяйственной Комиссіи было отвергнуто. Нѣсколько членовъ ея вышли въ отставку и въ нее были выбраны «новые люди». Моя личная связь съ новой Комиссіей оказалась разорванной.

Мнѣ пришлось столкнуться съ новымъ отношеніемъ власти и по другому вопросу. Я упомянулъ, что ушелъ изъ Хозяйственной Комиссіи потому, что затѣвалъ новое дѣло, которое мнѣ казалось еще болѣе благодарнымъ. Вотъ въ чемъ оно состояло. Какъ извѣстно, студентамъ было трудно обходиться безъ литографированныхъ лекцій. Изданіе ихъ сдѣлалось для отдѣльныхъ студентовъ источникомъ дохода; издатель несъ рискъ, но за то и наживался; на многолюдныхъ курсахъ даже чрезмѣрно. Мы затѣяли организовать «общественное изданіе» лекцій, безъ предпринимательской прибыли. Централизовать изданіе въ однихъ выборныхъ рукахъ, платить справедливо за трудъ, но не давать никому наживаться на общей потребности и поставить все дѣло подъ контроль выборныхъ студенческихъ органовъ. Намъ особенно соблазняло, что такая организація была бы болѣе широкой, чѣмъ Оркестръ и Хоръ, охватила бы весь Университетъ безъ исключенія и показала бы всѣмъ преимущество общественной самодѣятельности. И инспекторъ и попечитель опять на это пошли. Профессора насъ поощряли. Мы скорѣе встрѣтили сопротивленіе въ прежнихъ издателяхъ, которыхъ этотъ планъ билъ по карману. Съ ихъ стороны предъявлялись возраженія самыхъ различныхъ порядковъ. Но раньше, чѣмъ мы окончили разработку проекта, инспекторъ насъ предупредилъ, чтобы мы не торопились, что противъ насъ ведется интрига, что насъ обвиняютъ въ желаніи создать свою литографію и собирать суммы на «неизвѣстныя цѣли». Могу засвидѣтельствовать, что объ этомъ тогда мы не помышляли. Говорили тогда же, что возраженія исхо-

дили не только отъ *студентовъ* издателей, но и отъ нѣкото-рыхъ профессоровъ, которые, какъ Боголѣповъ, *сами* издавали свои лекціи. Не знаю, гдѣ была правда; но едва ли для такого отношенія властей надо искать особенно глубокихъ причинъ.

Если наши власти были бы способны иначе смотрѣть, вся ихъ политика была бы иная; но тогда не было бы и «Освободительнаго Движенія», а потомъ Революціи. Тогда общественныя силы не ворвались бы на сцену бурно, какъ непримиримые враги Самодержавія, а стали бы выступать постепенно, сначала какъ простые сотрудники власти, а потомъ какъ ея замѣстители. Поскольку сама власть не хотѣла *такого* исхода и продолжала бороться съ зародышами самоуправленія въ обществѣ, она не могла позволять, чтобы студенчество получило права, въ которыхъ власть отказывала взрослому обществу. Нельзя было серьезно мечтать, чтобы правительство покровительствовало студенческому самоуправленію и у насъ появилась бы «Парижская Ассоціація». Легализаторское движеніе имѣло временный успѣхъ потому, что его опасности не замѣтили сразу; потому, что у насъ были еще патріархально-благодущные администраторы Добровъ, Капнисть, кн. В. А. Долгорукій, которые не были типичны для занимаемыхъ должностей и одинъ за другимъ скоро ушли. Капнисть, надъ которымъ такъ смѣялись студенты, былъ всегда ихъ ярымъ защитникомъ. Позднѣе изъ напечатанныхъ воспоминаній Н. П. Боголѣпова я увидѣлъ, какъ злобно онъ относился къ Капнисту. Н. П. Боголѣповъ на все смотрѣлъ совершенно иначе, Я могъ это испытать на себѣ. Капнисть взялъ меня на поруки; а когда въ Москвѣ открылась Глазная Клиника и было торжественное ея освященіе, на которомъ присутствовалъ Боголѣповъ, какъ Ректоръ, мой отецъ, какъ директоръ клиники, меня представилъ ему. Боголѣповъ холодно и внимательно меня осмотрѣлъ и только сказалъ: «а! это тотъ самый, подвергавшійся». Скоро онъ смѣнилъ Капниста на по-

сту попечителя и, когда П. Г. Виноградовъ меня представилъ къ «оставленію при Университетѣ», онъ отвѣчалъ: «пока я Попечителемъ, Маклакову кафедры не видать». Кн. В. А. Долгорукій на посту Генераль-Губернатора былъ замѣненъ Великимъ Княземъ Сергѣемъ Александровичемъ. Старая Москва уходила. На ея мѣсто приходили люди безъ благодущія и добродущія. Они поняли то, чего не понимали старые администраторы, что наше теченіе могло стать политически опаснымъ, если бы дать ему развиваться *свободно*. Болѣе проницательные догадались, что можно въ полицейскихъ цѣляхъ использовать склонность къ легальнымъ общественнымъ организаціямъ. Изъ этой догадки выросло то своеобразное русское явленіе, которое стало называться Зубатовщиной.

Интересно и поучительно то, что недоброжелательству властей помогли и *новыя* студенческія настроенія. Конечно, они были и раньше; но въ извѣстное время они начали овладѣвать студенческой массой, которая стала поддерживать ихъ, какъ раньше она поддерживала «легализаторство». Всякое явленіе трудно замѣтить *вначалѣ*. А для меня это было тѣмъ труднѣе, что въ это приблизительно время я самъ отошелъ отъ студенческой общественной дѣятельности и переживалъ полосу другого увлеченія, которое пришло неожиданно, какъ почти все въ моей жизни. Я позволю себѣ на немъ остановиться.

Въ томъ же 1891 году, какъ и голодъ, въ Британскомъ музеѣ была открыта рукопись Аристотеля, *Αθηναίων Πολιτεία*, изъ которой до тѣхъ поръ былъ извѣстенъ только отрывокъ изъ пяти строкъ. Объ этой рукописи тогда появилось много специальныхъ работъ и не было специалиста по Греческой исторіи, который бы по ней не провѣрялъ своихъ старыхъ воззрѣній. П. Г. Виноградовъ на своемъ семинаріи задалъ студентамъ работу «объ избраніи жребіемъ въ Аѳинскомъ государствѣ» на основаніи сочиненій «Fustel de Coulanges'a» и «Headlam'a». Оба сочиненія стояли на разныхъ позиці-

ихъ; оба были написаны до *открытія* рукописи Аристотеля. И однако послѣ открытія ея оба нашли, что Аристотель ихъ воззрѣнія подтвердилъ. «Fustel de Coulanges'a» въ живыхъ уже не было, и это сдѣлалъ за него издатель его сочиненій, профессоръ Julian, который недавно умеръ въ Парижѣ. А Headlam сдѣлалъ это самъ, издавъ къ своей книгѣ Appendix, въ которомъ отмѣчалъ, насколько Аристотель его въ его взглядахъ подтверждаетъ. Отчасти по этой причинѣ, а отчасти по другимъ, о которыхъ не стоитъ рассказывать, я вышелъ за предѣлы поставленной Виноградовымъ задачи и попытался дать объясненіе жребію исключительно на основаніи непредвзятаго отношенія къ Аристотелю. Моя работа такъ понравилась Виноградову, что онъ напечаталъ ее въ Ученыхъ Запискахъ Московскаго Университета. Я получилъ сотню авторскихъ оттисковъ, которые по его указанію разсылалъ русскимъ ученымъ классикамъ и историкамъ. Они вызвали нѣсколько рецензій и съ похвалою и съ критикой, на которыя я опять отвѣчалъ въ спеціальныхъ журналахъ. Эта работа, а главное этотъ успѣхъ меня захватилъ. Я сталъ много работать у Виноградова, сталъ кандидатомъ въ ученые и на студенческую общественную дѣятельность у меня не хватало ни времени, ни вниманія. Я не сдѣлалъ ученой карьеры; какъ я говорилъ, Н. П. Боголѣповъ отказался меня при Университетѣ оставить. П. Виноградовъ уговаривалъ меня не смущаться и готовиться къ магистерскому экзамену дома. «Такой дуракъ, какъ Боголѣповъ, утѣшалъ онъ меня, долгу попечителемъ не пробудетъ». Въ этомъ онъ не ошибся, но только Боголѣповъ изъ Попечителей попалъ въ Министры Народнаго Просвѣщенія. Но совѣту Виноградова я не послѣдовалъ. Я былъ правъ. Закулисная сторона моей ученой работы мнѣ показала, что у меня не было настоящей жилки *ученаго*. Барьеровъ, которые мнѣ ставилъ отказъ Боголѣпова, и которые перепрыгнуть было нетрудно, я брать не хотѣлъ. Я подалъ прошеніе о дозволеніи держать мнѣ государственный экзаменъ на

Юридическомъ Факультетѣ экстерномъ, не слушая курсовъ, выдержалъ его и сталъ адвокатомъ.

Вспоминаю курьезы въ связи съ этимъ эпизодомъ. Я былъ членомъ Государственной Думы, когда моя сестра встрѣтила у депутата М. Я. Капустина Казанскаго профессора-филолога Мищенко. Въ свое время Мищенко о моей статьѣ напечаталъ рецензію. Онъ поинтересовался узнать, не знаетъ ли моя сестра судьбы молодого ученаго, носившаго ту-же фамилію, напечатавшаго когда-то интересную работу по исторіи Греціи и потомъ съ научнаго горизонта исчезнувашаго. Узнавши, что это я, онъ долго не вѣрилъ, а потомъ съ вздохомъ сказалъ: «а мы отъ него такъ много ждали». Еще забавнѣе, что здѣсь въ Парижѣ М. И. Ростовцевъ случайно узналъ отъ меня, что я былъ авторомъ этой статьи. Онъ разсказалъ, что ее самъ не читалъ, но по выдержкамъ изъ нея въ книгѣ пр. Бузескула, ею былъ заинтересованъ, и запрашивалъ Бузескула, гдѣ была помѣщена эта статья. Тотъ отвѣтилъ, что не имѣетъ понятія; что когда-то онъ получилъ авторскій оттискъ и больше объ авторѣ ничего не слышалъ. Насколько помнилъ, я изложилъ М. И. Ростовцеву свои тогдашніе выводы, и онъ мнѣ говорилъ, что эта работа и теперь не потеряла бы своего интереса. Я сдѣлалъ попытку достать Ученыя Записки этого года. Проф. Курчинскій въ Дерптѣ пересмотрѣлъ ихъ за 94 годъ, но моей статьи не обнаружилъ. Правда самыя Ученыя Записки я въ Москвѣ не просматривалъ и имѣлъ въ рукахъ только *оттиски* — но они были не мнѣ и я недоумѣваю, какъ объяснить это исчезновеніе *).

Вотъ эта неудавшаяся попытка войти въ цехъ ученыхъ помѣшала мнѣ замѣтить первые сдвиги нагѣво въ студенческихъ настроеніяхъ. Какъ всегда они предварили аналогичныя сдвиги среди взрослою общества. Историки говорятъ, будто общественное оживленіе можно приурочить къ 91 г., къ тогдашнему голоду и неумѣнью правительства

*) Мнѣ недавно удалось получить изъ Москвы оттискъ этой работы и воочію убѣдиться, что это не мнѣ.

собственными силами справиться съ нимъ. Черезъ немного лѣтъ послѣ этого на общественной сценѣ заняло прочное мѣсто новое явленіе «марксизмъ», и его схватки со старымъ «народничествомъ». Такъ кончался періодъ апатіи и унынія. Марксизмъ, не говоря о внутренней его цѣнности, принесъ съ собой то, что толпѣ всегда импонировало, самонадѣянность, нетерпимость и агрессивное отношеніе къ старымъ авторитетамъ. Тогда началась переоцѣнка цѣнностей, пересмотръ прежней тактики, появились наконецъ «властители думъ». Помню эти разорвавшіяся бомбы — книги Плеханова, Струве и др., диспуты о низкихъ цѣнахъ, марксистскіе журналы, осмѣяніе старыхъ интеллигентскихъ рецептовъ, и «курсъ» на фабричныхъ рабочихъ. Все это было по позднѣе; и прежде всего это отразилось, какъ въ выпукломъ зеркалѣ, на студенческой жизни. Но въ мое время этого еще не было. Самое слово «марксизмъ» тогда еще не имѣло права «гражданства». Появились поклонники только «экономическаго матеріализма», противники «индивидуальныхъ» политическихъ дѣйствій, проповѣдники то «научныхъ», то «діалектическихъ» методовъ въ общественномъ дѣлѣ. Это не было новымъ поколѣніемъ; они были моложе насъ всего на нѣсколько курсовъ. Но настроеніе ихъ уже было иное.

Чтобы заднимъ числомъ оцѣнить это переломное время, мнѣ было интересно и очень полезно прочесть его описаніе въ тѣхъ мемуарахъ Чернова, которые я уже цитировалъ выше. Я не помню, встрѣчался ли я съ нимъ въ Университетѣ; онъ былъ моложе меня и сталъ играть роль въ студенческой жизни, когда я отъ нея отошелъ. Но если даже личныхъ столкновеній съ нимъ у меня не было, то его воспоминанія многое мнѣ открываютъ.

Вмѣстѣ съ явившейся тогда «смѣной» въ студенчествѣ, вновь воскресло «подполье» какъ классическій, традиціонный типъ русской организаціи. Наше прежнее стремленіе къ открытой организаціи, для чего мы были готовы дѣлать большія уступки, замѣнилось съ руководствомъ изъ тай-

наго центра. Въ этомъ подпольѣ выдѣлялись новые, свои вожаки, съ особыми свойствами и талантами; многіе изъ нихъ свое вліяніе потеряли, когда позднѣе имъ пришлось дѣйствовать уже открыто. Руководящій центръ естественно подпалъ подъ вліяніе крайнихъ политическихъ партій; это — Немзида режимовъ, которые загоняютъ въ подполье. Такимъ новымъ центромъ въ студенчествѣ явился Союзный Совѣтъ, смѣнившій прежнюю скромную и не претенціозную Центральную Кассу. Союзный Совѣтъ смотрѣлъ на себя какъ на руководителя всей студенческой жизнью и тенденція «легализаторства» являлась для него конкурентомъ; Союзный Совѣтъ рѣшилъ ее задушить, чтобы не дать студенчеству соблазниться преимуществами «легальнаго существованія».

Вопреки тому, что пишетъ Черновъ, «легализаторство» не было сколько-нибудь организованнымъ, тѣмъ болѣе кѣмъ-то управляемымъ теченіемъ. Лучшее доказательство этого, что главой его Черновъ называетъ меня. Легализаторство было всего больше общимъ обывательскимъ настроеніемъ, которое неизмѣнно поддерживало случайныхъ инициаторовъ. Оттого борьба съ нимъ получила невольное не лишенный комизма характеръ.

Такъ изъ книги Чернова я впервые узналъ, что «Союзный Совѣтъ назначилъ большое собраніе, по нѣскольکو представителей отъ каждой студенческой организаціи, для обсужденія вопроса о легализаторствѣ. Приглашенъ былъ высказаться и самъ Маклаковъ».

Все это правда, и я это собраніе помню, хотя тогда не зналъ, изъ кого оно состояло и для чего оно собиралось. Тутъ уже вступали въ силу новые приемы подполья. Они бы были смѣшны, если бы въ нихъ не было чего-то недостойнаго нормальной, здоровой общественности. Еще до собранія, о которомъ пишетъ Черновъ, я какъ-то узналъ отъ товарищей, что Союзный Совѣтъ интересуется дѣятельностью Оркестра и Хора и обсуждаетъ вопросъ о своемъ отношеніи

къ нимъ. Это учрежденіе я считалъ своимъ дѣтищемъ и попенялъ, что меня не спросили. «Да, Ваше показаніе тамъ было прочитано, отвѣтили мнѣ; и мнѣ рассказывали, что «снятіе допроса» съ меня было поручено тремъ студентамъ, въ томъ числѣ моему пріятелю А. Е. Лосицкому, позднѣе извѣстному статистику. Я дѣйствительно разъ зашелъ къ нему по его приглашенію и мы разговаривали съ нимъ объ Оркестрѣ и Хорѣ; но онъ ни слова мнѣ не сказалъ, *зачѣмъ* и по *чьему* порученію онъ со мной говорилъ. Я тогда съ досадою пенялъ Лосицкому, что онъ разыгралъ со мной комедію. Оказывалось, что двое другихъ членовъ комиссіи даже не были въ комнатѣ, а слушали разговоръ изъ-за двери. Лосицкій былъ сконфуженъ и извинялся. Вотъ когда уже начинались пріемы охраны, которые расцвѣли при большевикахъ. Но и собраніе, о которомъ пишетъ Черновъ, постушило не лучше. Мнѣ и на немъ никто не сказалъ, что это собраніе есть *судъ надъ цѣлымъ «движеніемъ»*. Меня не предупредили, въ чемъ и меня и другихъ *обвиняютъ*. Мой однокурсникъ по филологическому факультету, съ которымъ мы очень дружили, Рейнгольдъ, просилъ меня придти на вечеринку, гдѣ нѣсколько человѣкъ хотѣло со мной поговорить объ Оркестрѣ и Хорѣ, о землячествахъ, о Парижской ассоціаціи, Монпелье и т. д. Такіе разспросы очень часто происходили и раньше. Помню, какъ я былъ удивленъ, заставъ тамъ цѣлое общество, которое, какъ мнѣ объяснили, пришло меня слушать. Мнѣ было досадно, что я не приготовилъ доклада, думая, что будетъ простой разговоръ за чайнымъ столомъ; ни одинъ человѣкъ, даже изъ близкихъ людей, не счелъ мнѣ нужнымъ сообщить, *какая* была затаенная цѣль у собранія.

Я, какъ правильно воспоминаетъ Черновъ, на этомъ собраніи ни на кого не нападалъ и ничего не пропагандировалъ. Для этого не было повода. Я только объяснялъ нашу идею; я указывалъ, что для однихъ функцій удобны открытыя, а для другихъ подпольныя организаціи, что соединеніе

всѣхъ функцій вмѣстѣ вредно и для тѣхъ и для другихъ. Такъ какъ въ землячествахъ есть стороны, въ которыхъ можно работать открыто, то нерасчетливо держать людей въ подпольѣ ради того, чтобы исполнять тамъ кромѣ того и подпольныя функціи. Я помню еще, чего кажется не помнить Черновъ, что въ этомъ со мной согласился Сибирскій студентъ-медикъ С. И. Мицкевичъ, очень лѣво настроенный и вскорѣ сосланный. На этомъ собраніи никто мнѣ не возражалъ и мотивы, которые сейчасъ противъ насъ приводитъ Черновъ, никѣмъ изложены не были. Такъ насъ осудили, не предъявивъ обвиненія. И мотивовъ приговора я тоже не знаю. Но зато я видѣлъ, какъ приговоръ былъ *приведенъ въ исполненіе* надъ Оркестромъ и Хоромъ. Я узналъ, что въ Хоръ стали массой записываться, чтобы эти учрежденія взрывать изнутри. Соответственно такой цѣли былъ выбранъ и составъ новой комиссіи. По просьбѣ старыхъ товарищей по Оркестру и Хору я пошелъ на очередное собраніе. Я увидалъ на немъ незнакомую прежде картину. Залъ былъ переполненъ; но многіе сидѣли съ книжками или лекціями, не слушая, но аплодируя и голосуя какъ по указкѣ. На собраніи было «сплоченное большинство», которое умышленно дѣло губило. Я участвовалъ въ преніяхъ. Не помню, о чемъ именно мы тогда спорили. Какъ курьезъ вспоминаю, что предсѣдателемъ собранія и моимъ оппонентомъ былъ теперешній редакторъ Возрожденія Ю. Ф. Семеновъ. Союзный Совѣтъ своей цѣли достигъ. Оркестръ и Хоръ были уничтожены. Такъ не въ первый и не въ послѣдній разъ сходились и помогали другъ другу «реакціонеры» и непримиримые «лѣвые». Отъ этого всегда страдаетъ «либерализмъ». Студенческое ликвидаторство и было прикончено тою же комбинаціей силъ. Это могло послужить прообразомъ того, что происходило позднѣе въ болѣе крупномъ масштабѣ.
